

Т а т ь я н а Х о ф м а н

.....

СЕВАСТОПОЛОГИЯ



Татьяна Хофман

Севастопология

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36069395

Хофман Т. Севастопология / пер. с нем. Т. Набатниковой: Алетейя;

Санкт-Петербург; 2017

ISBN 978-5-906910-76-9

Аннотация

Героиня романа мечтала в детстве о профессии «распутницы узлов». Повзрослев, она стала писательницей, альтер эго автора, и её творческий метод – запутать читателя в петли новаторского стиля, ведущего в лабиринты смыслов и позволяющие читателю самостоятельно и подсознательно обежать все речевые ходы.

Очень скоро замечаешь, что этот сбивчивый клубок эпизодов, мыслей и чувств, в котором дочь своей матери через запятую превращается в мать своего сына, полуостров Крым своими очертаниями налагается на Швейцарию, ласкаясь с нею кончиками мысов, а политические превращения оборачиваются в блюда воображаемого ресторана Russkost, – самый адекватный способ рассказать о севастопольском детстве нынешней сотрудницы Цюрихского университета.

В десять лет – в 90-е годы – родители увезли её в Германию из Крыма, где стало невыносимо тяжело, но увезли из счастливого дворового детства, тоска по которому не проходит.

Татьяна Хофман не называет предмет напрямую, а проводит несколько касательных к невидимой окружности. Читатель сам должен увидеть, где центр этой окружности. Это похоже на увлекательную игру, в которой называют свойства предмета – и по ним нужно угадать сам предмет.

Содержание

Предместьесловие	6
Моё Мигро	22
Чисто писать	31
Школа для дураков	33
Буревестник	47
Центрально-европейнка	55
Недосягаемость/недоступность	59
Отрава	62
Фотографии	65
Скорость	73
Телефонная будка	80
Год свободы	83
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Татьяна Хофман

Севастопология

Tatjana Gofman
Sewastopologia

- © Т. Хофман (Т. Gofman), 2017
© Т. Набатникова, перевод с немецкого, 2017
© Edition fotoТАРЕТА (Berlin), 2015
© Издательство «Алтейя» (СПб.), 2017

* * *

*То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошёл же, погоняй!..*

А. С. Пушкин

Предместъесловие

Прощай, милая буковка В, не нашлось тебе места на клавиатуре впечатлений. Но я не держусь за старые знаки.

Ностальгия, топология... До распада ещё можно было меланхолично сочинять байки об утраченном прошлом и с любопытством открывать для себя настоящее – ныне мы растерянно озираемся в Восточной Европе, почти как в работах историка Карла Шлёгеля, который раскрывает в известном незнакомые ландшафты. Лестно узнавать, что так много уцелело из немецкого прошлого, а вот что появилось экзотического прямо у нашего порога и простирается почти до Москвы... Останемся при красивом культурном наследии на обломках прошлых и будущих войн.

Приятно читать о том, как быстро едва знакомые восточно– или центрально-европейские страны уверенно становятся центрально-европейскими демократиями (они становятся как мы!) и будят интерес своим пока-недоразвитием (где им стать как мы?). Читаешь, словно едешь, а чтение влечёт и манит все дальше и дальше. При этом остаёшься дома и взираешь с Запада – чем он не центр? – как отряхнувшие тоталитаризм приходят в себя воспрявшие, эмансипируются от зла и даже настолько уже хороши, что западнеют.

А есть ещё Швейцария. После двадцати лет в Берлине с неизбежными «наездами» – а веси ли ты или осси, а рус-

ская ли, украинка или берлинка, а то и вовсе понаехавшая, то ли ты родительница, то ли радетельница культуры, и last but not least, росла ли ты с детства с немецким языком и почему не полностью срослась – я со всем восточноевропейским пафосом и всей немецкой прямоотой позволю себе наперёд заявить: именно здесь виден жизнерадостный баланс из тоски по родине в её старом привлекательном образе, вкупе с широкими возможностями для всех, кто работает и платит налоги. По крайней мере, в крупных городах и на праздниках окончания крупных университетов заметно, что треть людей родом из других стран, а для швейцарцев региональная принадлежность – вообще тема светской беседы.

Чем происхождение отличается от погоды? Оно приходит как погода – и уходит так же. Или остаётся на какое-то время. Например, здесь. Мне хочется прямо здесь, прямо сейчас, каждой фразой, каждым выпадом буквы найти опору в языке. Создать её, хоть топором, чтобы остановиться, оглянуться на остановке с удобной игровой площадкой для детей и взрослых. Встать в порту, где якорь достаёт до дна. И пусть бесплотный лоцман живо буксирует ответ на вытянутый билет.

Трэш мечты. По-настоящему стильный.

Аллитерация – волшебная палочка, которая снабдит звёздочкой произвол значения. В неуклюжем порой кроется настоящее: нестерпимые, неупорядоченные и не поддающиеся строю слои травматических шлаков, от которых не спа-

сёт никакая диета. Помёт мировой истории, дымящийся по её стопам. Чёрный, тяжёлый, коварный. Рассасывается лишь в дурмане чувств, невозможно избежать заряда инспирации истории. Слух о Йозефе Бойсе в ухе – как блоха. Кой-кому пришлось там рухнуть и заново родиться, а кой-кому и не там, а где-то в другом месте приходится многократно умирать. Как ни крути, как ни вертись и как ни сваливай, а крымский жир прилипчив. Войлок навеки, воют чебуреки.

Прибоем подгоняет много морских метафор – и все избытые, как женское имя лодки, краска которой обветрилась и шелушится с бортов. Они не университетские, они универсальные и проверенно обветшавшие. Они тут как тут, стоит только бросить взгляд на озеро со стороны Бельвю, тут же всплывают, тонут и уходят – но нет же, они остаются, мы остаёмся, вы остаётесь: с ними здесь сживаешься, сжимаешься... *Soggu*. Морское не побороть, иногда оно оборачивается интимным. Благосклонные читатели могут прыгнуть за борт, если вдруг начнёт переливаться через край. Спасательные круги есть лишь в том смысле, что тоска по ним рано или поздно, на этом или на том берегу утихнет. Мои круги распускаются водяными лилиями, плывут по заросшему озеру к Моне, Розалия Шерцер им улыбнётся, Набоков в Монтрё отмахнётся. Целанчик, сыграй мне песню о спасительной игре слов. Моя песня всё равно останется чуть подкрашенной, как первый весенний одуванчик, как помада на молодых губах – как будто с Востока, как в аду начала 90-х.

Что там с той иной страной под именем Росс? Существует ли она ещё? Разве что в начатках названия, и я укладкой укладываю её в моё русское воспоминание. Оно помнит те территории, которые больше не принадлежат России – или уже опять принадлежат, но политически мои манипуляции настолько некорректны, что собственная цензура моей бедной головы сказывается на желудке – и на языке. Может ли русскоязычная диаспора, если её засунуть со всеми её ящичками в комод сверхслов, позволить себе разглядеть смятые имена в черновиках памяти? Или её выкинут, как уже ненужные промокашки, задвинут под угловатый стол политики, поставят в угол стыда и совести с требованием исправиться, нет: демократизироваться? Могли бы мы это себе позволить – под тонким покровом текстов и под кровоточащими буквами запрашивать убежища для «русских» (whatever that means) постимперIALных комплексов? Не так уж сильно они отличаются от украинских или постюгославских. Несносные местности. Cultural Cringe. Звучит хорошо. Критично. Так, что снова становится дурно. Проблемки в желудке закаменевают в прибрежную гальку.

Пробные страны, годовые числа, даты жизни превращаются во что-то другое, выпутываются из своей имматериальности, идут в «народ». Чем откладывать на чёрный день то, что они обозначали, лучше промотать на пару с парой глаз и все дела. Воспоминание и беспамятство, охота и неволя досыта належались, как лодыри на печи в русских сказках.

Севастопология. Collected fieldwords. Go for it. Стоп, это апология алогичности. Кое-что про это. Слова с тихого Дона, из скучного южного предместья Цюриха (моего Zur_ich, к себе) и иногда из отдалившегося, надёжно отдалённого, порой чувствительно шантажирующего берлинского Веддинга – моего монтажного пульта, моей собирательной линзы, сфокусированной на крымской сказочной стране, распавшейся и превратившейся в особый случай, но только бы не в случайность!

Здесь ты легко всплываешь в городские воды, фиксируешь блестящие поверхности, считаешь ступени холмов и крылья чаек, желаешь вечной жизни лебедю, едешь на велосипеде вдоль берега, вдоль несуществующих кулис и стен, въезжая в развёрнутый экран. Золотистое ли, серебряное, Цюрихское озеро может быть сколь угодно глубоким и широким – каким понадобится для мгновения. Если надо, бери. Вбирай. Предполагай. Кислород как вода, огонь как основа. Вода охватывает воздух и втягивает тебя в рисунок, который ещё не нарисован. Многие реки текут с гор. Стоят и ждут. Лимонад Лиммата – противоядный лимонный сок. Речушка Зиль избавит от избытка.

Прикрепи себе за ворот определённое чувство жизни, заражаясь от Крыма, которым здесь поражаешься. Он бросается на тебя как ликующий пёс, смахивая хвостом даль знакомства. Экзальтированные замахи. В таком объятии даже городская собакобояка испытывает озёрнозабавную радость.

Идеальный же читатель пусть себе позволит по-детски стать хоть щекотливым щенком, хоть белой белочкой – где-то это должно быть разрешено. Хотя бы коротко, но не кротко. Ибо что есть пафос, а что есть китч, до этого нам не донырнуть в словоморе. Мы надеемся на встречное течение удовольствия, хоть с вольностью, хоть с недовольством русскими. Только бы с лицом, открытым на восток.

Главное направление: настроение, определение, которое берёшь изначально, когда спешишь, например, в магазин и вдруг невольно замедляешь шаг при виде яркой зелени и яркой синевы, коронующих новостройку. Слева луг, справа проносится кабриолет, немного повыше – две коровы, над всем витает лёгкий дух навоза, а может, это лишь навеяно солёным морем из-за гор. Небо хоть в кино снимай, облака сбиваются в нежные шапки сливок, впереди ресторан, обычно закрытый, за углом био-хозяйство, дальше – лошади и пара высотных домов, снаружи притворно социалистических, напоминающих, что это ещё город, хотя он тут кончается. Вокруг твёрдая уверенность, что этот мир не переменится, а если вдруг – то к лучшему. Как в той рекламе – *it's cool, man.*

Франтоватый флот, униформа матросов в чёрных брюках, расквашенных, как нос боксёра, опорная нога рекламного щита у самой воды, плакучая ива, капающая патокой... *Sorry.* – Как часто я здесь слышу это вежливое слово. Что ж, я не могу говорить об этом по-другому значит, будем ломать копыя за патерналистскую и родноязычную выразительность

речи всеми средствами благородной иронии, которая никого так и не защитила от упрёков и разночтений. И я ломаю: гордость и любовь, привязанность и зависимость. Святое, о котором полагалось бы молчать, чтобы оно оставалось святым и прекрасным. Сокровенная, истинная связь, которую едва ли отыщешь в пост-постмодерне, разве что под маркой гущульской романтики или антисоветской подпольной борьбы.

Идентичность, это *недослово* эпохи, бьётся в жилах, бренди-иденти. Вынуждает шутить над болью сердца: круговое укутывание против нормированного дискурса культурного пространства. То, что звучит так сухо и неаппетитно, может быть сочно, креативно, и: креольски, крымски – только не кремлёвски (!) – аттрактивно откорректировано. Несмотря на чистосердечнейшие усилия в корректном немецком, я не в ладах с сослагательным наклонением и прошедшими временами (в русском языке удобней, есть только совершенное и несовершенное, и хотя то и другое ускользнуло и заржавело в прошлом веке, след остался). Очерчивая мелом этих строчек Крым, надо бы всё же бросить его, мой якорь. А я вновь поднимаю его, чтобы сдвинуться с места. Иначе невидимый канат утянет меня вдаль, к этому почти предосудительному краешку земли на Чёрном море, который плутувато косится на юго-запад, подмигивая Альпам. Маленький трамплин, катапульта без промаха. Полуостров лихо гикает с палубы: двигай. Но не забывай.

Я пишу не только с оглядкой на братские могилы и те го-

ры, что у меня за спиной, но и с некоторым неудобством, что «моя личная территория» заболтана, политизирована, изрыта враждой – если это не произошло уже тогда, когда я катала своих кукол в уголке, в самодельных колясках. Если Стасюк&Со могут иметь свои малые родины, то и я могу устроить посиделки, даже если на них не явится никто, кроме моих тогдашних кукол.

Крым и так разобран по косточкам, спору нет. Мало того, что я больше двадцати лет назад потеряла его переездом, эмиграцией на буксире родителей в Берлин, так ведь и люди, оставшиеся там, лишились его тоже. Потому что пришла пора Украины. Мои родители, не дожидаясь обещанных улучшений, занялись улучшением сами.

Может быть, мне следовало здесь заговорить об инфляции и некоторых варварских обычаях времён перестройки, о которых провинциалы (а провинция на постсоветской территории – всё, что вне Москвы и Петербурга), были отнюдь не так говорливы, как люди Запада. Я никого не ввожу в заблуждение, кроме себя самой, Крым погибал в 90-е годы. Если что-то во мне и отважится возразить, то лишь с аргументом культурного наследия, респектабельным в любом краю: что-то всё же закрепилось в восточном духе, что-то от меня самой застряло там, что-то я взяла с собой, а поскольку у меня не получается экономить в такой богатой стране, как эта, я поделюсь с другими многочисленными *written HerStories*. Мне хотелось бы попробовать того каравая, подойти ко все-

му тому как Хоми Баба, только скорее на деле – не примыкая к нему и не опираясь на него, а просто – как *hoto баба*.

Многое уже не помню, не всё ухватишь буквами, что-то шёпотом ворчит про шок, что-то тает как шоколад, а что-то парит кашей геркулес по утрам. Пришлось отведать яблока ещё до наступления рая. Позволю себе роскошь обойтись без взвешенности, без предметности, без мнений и суждений других. Проветрю подушки, встряхну внутренние монологи, логова языков и пейзажей. Доведу их до ручки. Прогулочная акция с массивной – вплоть до агрессивной – неразберихой чувств. Дам место тому, что не нашло себе адекватного ящика для переезда и подходящей полки ни в моей жизни, ни в жизни других за два десятилетия активного становления немкой и начисленных неудач в этой части. Я прибираю, расчищая место этой звёздной пыли – вытряхиваю остатки в бутылку и запечатываю для отправки бутылочной почтой. Почтовая марка: вид из кресла на озеро, чистое, как альпийская вода из-под крана, и опорная спинка гор.

Прыгаю по скалистому гребню schon-гармоничного Утлиберга, утли-гармоничного Шёнберга, танцую с ядрёными красотами машинерии имиджей Крыма. И тает лёд, шумят потоки, зеленеет луг. Это восстание против повседневной ненависти, за не-политическую весну. Просто за весну, неорганизованную. Которая может быть лишь запоздалым хаосом. А кто опаздывает, того наказывает Горбачёв. Его реформы запоздали, это политическое высказывание, которым

я ограничусь, раскрывая границы ассимиляции как симуляцию.

Перед тем, как что-то толкнуло меня в *письморе*, я читала, что люди в Крыму считаются особо советскими, особо ностальгичными, как нарочно в том паршивом городе Севастополе, где чокнуты на героях, в свободном падении автономной республики. Месяцами про это талдычат газеты, толкуют о моём аргументе и факте, моём немом шумке невыгоревшей солнечности – сбережённой в каждой веснушке и в каждой родинке (нем. Leberfleck). Родинка не имеет ничего общего с печенью, а в русском языке имеет что-то общее с родиной и может означать маленькую родину – как водка означает уменьшительную форму от слова *вода*, не правда ли?

В моём дремучем, нет: в моём древесно-уютном, на взгляд отсюда удобно скроенном и хорошо темперированном крымском кризисе я чувствую себя так, будто постоянно расхаживаю в майке и мастерю из газеты шляпу от солнца и нашлёпку на нос. Я могла бы чувствовать и свою принадлежность к России, это было бы ясным внешнеполитическим решением внутреннего конфликта.

О чём-то в этом роде размышляли вслух мои родители, они хотели подать заявление на росс, гражданство, чтобы мне больше не мучиться с визами. Ходили в русское посольство в Берлине со своими советскими паспортами. Им сказали, что их паспортам больше двадцати лет и что им сна-

чала нужно получить украинское гражданство (и это стоит слишком много, прежде всего преодоления нестремления к нему), потом отказаться от него и только после этого подать заявку на росс. гражданство. Поскольку они уже не имеют отношения к России, как им заявляют, а я вообще не была никогда гражданкой. А вдруг – слышу я – украинцы скажут, что нам надо отказаться от немецкого гражданства, чтобы получить украинское? И что, если мы потом не избавимся от украинского?

Так мы и дальше живём с немецкими паспортами. Советские паспорта родителей лежат как незаконченные романы в выдвижном ящике в их спальне. Такие выставочные предметы надо бы в семейный архив. Его нет. Тайком их сфотографирую, когда снова окажусь в Берлине, а лучше бы хранить их у себя, чтобы показать детям и внукам.

Объяснения про Крым – хрипят, царапаются, измеряют глубину причин и лепят расхожие лозунги. Снова и снова в ту же точку, до мёртвой скуки. (Когда я вырасту, я спрошу эту мёртвую скуку, да была ли она в Севастополе?) И тут же, как на ладони, исторические необоснованности, логические пропасти. «Русские – стервусские» – повторяет мой сын то, что подхватил в школе на перемене. На вопрос, говорит ли он уже на цюрихском диалекте, он заявляет, что и не должен – я-то ему сказала, что это было бы неплохо, но он по-русски строптив, и мне с тяжёлым сердцем приходится это проглатывать с чёрным чаем, такова судьба – ведь он же немец, как

он заявляет. Слова его отца отдаются эхом. Отклик нашей берлинской капитуляции, бегства от проклятий. И от удушающей хватки, от нападков, от удара по столу нашего Степана, как мы его звали: «Говори по-немецки, чёрт бы тебя побрал, или иди в свою степь!»

Колыбель ортодоксии, защита отечества, место романтической тоски, строго стратегический стиль улицы. Несуразный – таков мой немецкий, ходульный, деревянный, я так и не выбилась с ним в высоты буржуазии, и тут не помогут ни титул «д-р», ни кресло. Зато такой стиль будет неукротимым, пардон: неповоротливым, медвежье-сибирским. К тому же втащу контрабандой пару выдержанных интертекстов из экстраординарной литературы, которую мы сохраняем пуце всяких паспортов, у них прочный рельеф, и – хочешь не хочешь – горы гордости вокруг них.

То, что для одного – защита границ, для другого – варварство, нарушающее границы, и вот у нас уже идёт позиционная война. Одни жесты чего стоят. Угроза и власть. Нелегальное. Угольное и игольное, всё в иглах, ледяных, колючих и всё же идущих от сердца – в сердцах от многого выговариваешься и на многое уговариваешь себя. Россия для Крыма, дескать, лишь одна глава из многих. Да, но одна из актуальнейших и продолжительностью более 230 лет.

Важно понять, почему для другого что-то важно, хотя и путь туда неровный, и возврата не будет. Это важное – реальность многих, которые чувствуют себя русскими, – неважно,

каким образом, в Крыму и вне Крыма.

Можно было бы провести сравнение. Среди цветущих деревьев, открылѐнных первым весенним ароматом, похожим на рисунок блузки из розового, белого и жѐлтого, с видом на горы Цюриха – видом, которому пыль Сахары придаѐт ещѐ немного тяги к дальним странствиям – вдруг возникает лиш-ний вопрос: как долго Швейцария существует как Швейцария и какая глава предшествовала этому пятнышку земли на политической карте мира? В качестве сравнения между двумя разными райчиками, рассматривая со всех сторон, от волка до зайчика: кто-нибудь усомнился, что этот круговой перекрѐсток кантонов важен для швейцарцев? Что считать годы, если есть несколько поколений, которые в настоящем, в этой зыбко ограниченной современности чтения и письма разделяют одно понятие о родине в отношении этого округа, района, квартала, деревни, горы, страны, полуострова. Что делать? Осудить это или распространить в народе, что он *интернационализирован* – всем добровольным участникам показать, что они при чтении могут немного попробовать Крыма, и навести их на мысль, что они у себя тоже имели и имеют свой юг, своих героев, свои поля для зарисовки, свои игровые уголки и свои углы, куда их ставили в детстве.

Я не хотела бы писать объяснение про Крым, скорее уж – отправить обращение к нему. Оно просится наружу, вылететь, пойти поиграть. Этакий голубь мира-блин-радости. «Голубь мира – сгѐres – радости» должен окрепнуть и слепо

лететь туда, куда его влечёт, будь то берлинская зона или город Беллинцона. Он должен спокойно облететь Цюрихское озеро, я прилагаю усилия к дресс-ировке – оденусь намного лучше, чем раньше. Я твёрдо верю в этот особый воздух, в этот свет и эту лёгкость, здесь и сейчас. Здесь *gross* с долгим О-о. Здесь сожалеют, что не сообразили раньше, как увильнуть от нажима прусских впечатлений, а теперь это требует уже серьёзной восстановительной работы часовщика.

Впрочем, один взгляд на карту – и не так много фантазии понадобится, чтобы провести бережно-небрежные сравнения, добиться баланса (прочь, каламбуры, тут дело серьёзное – ввести «это» в текст, на поводке, навеселе, при галстукке и шляпе, и дело будет в шляпе): Крым лежит лишь чуть южнее Швейцарии и по площади чуть меньше, чем она. Если их вырезать и наложить друг на друга, кое-где они могли бы поласкаться краешками.

Или перестать дурачиться.

Но было бы занятно глянуть, на что придётся бухта Севастополя. И точно, на Тессин. Биографически это звучит хорошо, да и окрашено в рифмованные дополняющие краски: между Севастополем и Тессином – Берлин. Беспечный Тессинчик, мне бы поехать к тебе и поведать об Анне Кесса. О ней с восторгом вспоминает мой сосед восьмидесяти лет – с первого же раза, как он со мной заговорил. Она, мол, подавала лучшее в Тессине русское меню к обеду, а я, мол, готовлю не хуже, и запах моего борща (звучит почти как Борхес) про-

будил в нём очень давние воспоминания об этой русской поварихе. Он принёс мне книгу с её автобиографией и попутно рассказал, как его дед, работая в библиотеке дома литературы и продлевая необычные книги одному молодому человеку, таким образом познакомился с Лениным и пригласил его к себе на картошку, запечённую с сыром. Моему соседу было за него стыдно: почему без мяса? Как видите, мои цюрихцы водят знакомство лишь с самыми незаурядными русскими. В кавычках, как водится.

Я не хочу отчуждаться. Вся чокнутость эмиграции – единственно плод отчуждения: чужой здесь, чужой там, чужой самому себе, чужой чужим, вплоть до отрыва от культуры, вплоть до потери всех смыслов, вплоть до того, что ничего уже не чувствуешь. Хотя, может, даже «чувшь» означает что-то важное и весёлое на каком-то из чужих языков. Бесчисленные конверсии в чужую валюту, с потерями на обменном курсе. Добрый день, я Ч.Ч. Чужая в любом смысле для всех, таким образом нельзя по-настоящему с кем-то познакомиться. Рано или поздно я становлюсь здесь настоящей немкой, заносчивой и неадекватно бестактной. В Германии, кстати, спрашивают теперь, не швейцарка ли я, а раньше: см. выше. В Москве я через неделю воинственных самозапретов бываю опознана как *наша*, своя, только благодаря языку и некоторой эмоциональности (имперской, какой же ещё), с которой «посылаю на хрен» кой-кого – с его теорией заговора и антисемитизмом, – хотя этот «хрен» означает, что путь в

неприличные глубины русских вербальных полезных ископаемых ещё далёк. И если украинец признаёт во мне украинку, я не отрекаюсь – это создаёт на время гармоничную причину быть вместе.

Неважно, насколько тверда валюта, твёрдость закалки валидной. Свидетельства об идентичности ошеломляют вновь и вновь, они действуют как обвинения, если ожидаемый образец не оправдал себя. Едва «обосновался» один атрибут, как появляется следующий, для которого полагается найти элегантную вставку, подходящий тон. Только я не музыкальна. Что мне нацарапать на берёзовом стволе? Здесь была, там любила, тут погибла. Бережно, на бегу: меня ничто не мотивирует. Всё пропало, собирать нечего. Текст нанизывает бисерный блеск, а не сами жемчужины, но, может, он сведёт меня и тебя с ума, как раньше нас сводил вид с балкона на машущие стройные тополя, так что мы соберёмся, а то и сойдёмся погулять.

Так вот, отрыв – наибольшее отчуждение, какое можно допустить. Тут нечего добавить, только собрать и снова спустить сквозь пальцы. Дать превратиться в набор букв, указывающий на некогда жившую, прожитую, пролюбленную – любимую – атмосферу с чёрным чаем, четырнадцатью чумазыми чертенятами и китайским термосом в розовых розах. Сверхчувственный опыт. Сугубо немецкий забор из сетки-рабицы светлых и приглушённых тонов, переплетённый и преодолённый старой доброй соседкой.

Моё Мигро

Я никогда не была готова вспоминать о моём детстве и о его конце – *эмиграции*. Вместо этого я могла пройтись, может быть, по объективным датам моей жизни и по ходу нескольких жизней, которые содействовали осуществлению моей. Мне и нужна утраченная память, мне нельзя помнить себя полностью, иначе будет запечатан источник желания вспоминать. Боязнь, что вытесненное будет жить собственной жизнью и однажды нанесёт ответный удар из универсума, и страх утонуть, оказаться заведённой не туда, подвергнутой воспоминанию – обгоняют друг друга. Я жду, когда память сама даст о себе знать, когда она распрямится во весь рост, отчеканятся её оттиски и впечатления, её чтимые и читаемые следы. До тех пор, пока она не испарится.

Я жду уже давно, как раз с того момента, который можно назвать переживанием миграции. Это странное понятие: оно обозначает нечто завершённое, как первое посещение магазина на новом месте. Переживание пережил, после этого имеешь множество дальнейших переживаний, которые наслаиваются друг на друга, так что самое первое просвечивает лишь в некоторых местах. А эмиграция – это событие, которое не прекращается, это нон-стоп фестиваль нон-фикшн. Она не завершается чисто телесным отсутствием или присутствием. Иногда её вообще больше не чувствуешь, а по-

том вдруг чувствуешь отчётливо, иногда она погладит тебя подспудно по ноге как кошка, которая хочет подластиться, но этим маркирует свою территорию – она как река, которая легко, мимоходом влияет на настроение в городе. К ней быстро привыкаешь, быстрее, чем к морю или к озеру, свет и воздуховолны которых меняют облик города неожиданно и весомо.

То переживание я уже почти «забыла», однако когда мой сын завопил, явившись в мир, и я решила, что русский язык звучит успокоительно, то состояние часто возвращалось, кричало на меня ещё громче, чем младенец, и от него прибавлялось материнского молока; казалось, его хватит не только для одного, и что-то нагнеталось. В моей деревне, в городе, за горой Энтлисберг, пока ещё не застроенной, дышится глубоко – над последним красным экспрессом дня и прежде, чем актуальный мир взорвётся. Я отважилась выдохнуть.

С тех пор я вымотанная, покупающая те же самые продукты в сети «Мигрос» мигрантская тётя. Кормящая *самкамама*. Так положено, чтобы поддержать жизнь себя и ребёнка – и ребёнка в себе. Мне уже больше не подсовывают обыденное блюдо «будь чистой немкой», этого от меня уже не ждут. Иногда мне здесь говорят, что я не немка, это заметно ещё и потому, что я говорю на «телевизионном немецком» без регионального акцента, и здесь об этом заговаривают со мной чаще, чем в Берлине.

Там, в «плавильном котле», в самом хипповом из всех немецкоязычных городов (слишком много проглотили каши для грудничков?) на нас – мать и дитя – смотрели как на иностранцев, делали нас (меня снова) таковыми, и удивлялись, что мы тоже говорим по-немецки. Рано или поздно возникал вопрос, почему мы не всё время на нём говорим, если уж можем. – В этом нет ничего особенного, нэма проблэмы, как тут вежливо уверяют на каждом шагу. И тем не менее, достало до молочных протоков и самых старых дружб. Это вам не поверхность озера, что своим небесным отражением одинаково окутывает лощёных коренных жителей и несколько более необычных посетительниц пляжа, так что все краски природы, великолепные даже в дождливую погоду, напоминают о человеческом ничтожестве и о том, что при любой погоде живые существа способны во всей красе проявить присущие им свойства. Параглайдинг в рай. Настало время прекращать с пара-фразированием, пара-текстами и бес-парностью. Этот вид спорта был бы вполне в духе советских фантазий о покорении космоса. Да, пора, сестра, пора: вставай и двигай дальше, да хоть в Москву.

Вопрос культуры речи не сравним даже с тёмной тучей. Он любопытно склоняет свою голову как гигантский дразнящий вопросительный знак, спрашивает, кто ты, почему живёшь как метонимия зла (государства, палача истории), почему ты не такая, как все, хотя могла бы, или могла бы быть другой как-то по-другому: по-берлински прямой – без гор-

ных ландшафтов, без многослойности, без общих историй, просто без связи с чем-то плохим.

Свободное падение вытесненного родного языка. Язык моего отца был немецкий: будучи сыном завоевателя Берлина, он первые годы жизни провёл в Потсдаме под присмотром немецкой няни. Лет десять спустя он учил корейский язык, в больнице на острове Сахалин. Этот остров как Исландия, только без гейзеров, кто-то мне говорил. Мой отец несколько лет прожил в этой дальневосточной Исландии, потому что деда сослали туда вместе с семьёй – за что, никто не знает. На этом жестоком Сахалине мой отец получил воспаление почек и проблемы с печенью, так что подолгу лежал в больнице. В одной палате с корейскими подростками, которые научили его своему языку. Недавно в самолёте рядом с ним сидела женщина из Кореи, они поначалу говорили по-немецки. Потом он что-то сказал на её родном языке и поразился, как оторопело она тут же перешла с ним на «ты».

Когда в 1993 году мы приехали в Берлин (Лихтенберг, серый перрон, серое небо, гримасы прибытия), он не помнил почти ни слова из своего бывшего родного языка. Он разучился ему. Точно так же с украинским. Как и моя мать, он провёл юность в Виннице, одном из промышленных городов Центральной Украины. Я иногда звоню родителям и спрашиваю, что означает то или иное украинское выражение, которое не нахожу в словарях. Если трубку снимает он, то мгновенно находит перевод. Я не верю ни одному его сло-

гу, он без труда изобретает семантические оттенки, которые ему лишь мерещатся. Мама, что это значит?

Мама, мне кажется, рада, что последнее слово – за ней. Поначалу, когда начались мои расспросы, она удивлялась – не столько моей новой работе, сколько тому, что она оказалась востребована со своей языковой и культурной экспертизой. Якобы бесполезный украинский язык, ха, смотрите-ка, даже он может быть важным. Знать языки, говорила она, не на горбу носить. Нет, говорит она теперь, «Г» нужно выговаривать мягче. «Эс» тоже мягче! Своего внука она иногда называет *пუსятко* (Pusselchen, дудит словарь Duden). И это при её языковом пуризме.

Ещё одна заслуга моей матери та, что в моей стержневой семье не говорят друг с другом ни на немецком, ни на его смеси с русским, а говорят на чистом, почти пушкинском русском. Её средство для этого столь же простое, сколь и последовательное: она поправляет всякого, кто допускает ошибку в речи. Она исправляет даже редакторов русских газет и ведущих радиопередач. Но это другая история. Как и та, что в какой-то момент мы больше не разговаривали между собой, я почти разучилась родному языку и записалась на славистику чтобы не потерять тот слой языка, который на глазах высыхает, черствеет и крошится, как остатки моей прежней жизни.

Может быть, с языком всё обстоит так же, как и со всем остальным: он не исчезает между сознанием и бессозна-

тельным. Даже если он недоступен напрямую, он оставляет межъязыковой слизистый след, указывающий на одновременное присутствие нескольких языков, что хорошо видно на примере плохих переводов. Когда излагаешь, но ещё не изложил, когда промахиваешься в парадигме, но этим и даёшь понять, что перевод подобен упражнению, в котором проигрываешь заданные ноты, а получается всякий раз другая музыка, и тогда тупо цепляешься за подол юбки исходного текста и боишься его отпустить. Но знаешь также, что есть потенциальные читатели, которые точно так же запутываются в языковых нитях мышления оригинала, слышат сходную музыку и прослеживают этот улиточный темп, который парализует тебя и не даёт перейти от одного языка к другому. Наверняка тренировка помогает. Побежать в круглую кабинку для переодевания на пляже, сперва выплакать грим старой роли и быстренько снова взбежать на сцену, не пропустив свой выход.

Измельчённая в крошки метафора навязывается уже вся изношенная, как сувенир из вторсырья. Как обиходный язык, который остаётся после того, как золотой словарный запас рассован по тайным банковским счетам, отстал на пути (в интеграцию?), перерезал кабель, опустошил молочный канал. Как воспоминание, которое выковыриваешь, или которое пробивается наружу, вычёсывается, словно *барашек*, взбегающий на гребень волны. Так мы называли пенный гребешок волны на море при сильном ветре, рожки его непо-

корности – индикатор того, годилось ли море для пляжного дня или было опасным.

Иметь наготове несколько подходящих ответов, дружеских по отношению к слушателям, адекватно ориентированных на горизонт ожидания. Да, там было хорошо! Нет, там не повсюду холодно! Нет, не сегодняшняя Росс. Советский Союз. Нет, республика Украина, официально, и: автономия при ней.

На вопросы, как же было «там», в другой жизни, на другой планете, отвечайте лучше сами, ведь вы точно следите за медиа. Кстати, та другая планета находится на том же континенте: Крым – это всё ещё Европа, хотя погодные карты его отсекают и хотя мы перед заплывом говорили друг другу: «Смотри, не уплыви в Турцию!»

Я не заступница ни России, ни Украины, я вообще не понимаю больше ни ту, ни другую страну, хотя и пытаюсь о них иногда робко высказаться. Я защищаю мою крымскую мистерию, мой вольный Крым, мои крымские свободы, Krimfreiheiten, фр-кр и кр-фр. Франция? Crème fraîche? Кефир? Сметана! Немножко. Мы обмазывались сметаной после солнечных ожогов, и этот великолепный послезагарный лосьон обтекал мою кожу и изменял моё нутро, вместе с тогдашним солнечным блаженством, так сказать: матросская татуировка сплошняком. Я ручаюсь за согласный перекал гальки и гласные фабулы моря, прибитые к берегу для купания в куплетах описания. За Крым, как он накатывал на

меня при возвращении в Цюрих (крымня, забери-меня), нёс меня и захватывал с собой, хотя так и не научил меня плавать, но и не расплылся во мне. Крым, который навывлет меня ранил и подбил на этот текст. Фирменное блюдо в кафе «Вост. Дух»: сливочная *крымская волна* на десерт. А перед этим на скорую руку рыбные котлетки, южные по природе.

Переживание миграции – это как переживание инициации? Переходной, перекатной, неуклюжей, внезапной, с горизонтом перед глазами, где Камышовая бухта и где вода целует облака. Хотелось бы всё же сделать наглядным когерентный нарратив, который мы наклеим на К. как марку с Запада, сунем вождение в набежавшую волну и сбрендим, как будто напившись сладковато-южного, подпалённого солнцем крымского бренди и наигравшись в потопленные корабли.

Крупноячеистое плетение сети идентичности на примере смещения языка и места. Попытка увидеть собственную маленькую историю, втиснутую в поток общедоступной наррации, ритмизированной нумерацией страниц – вот рацион балбесного и колбасного. Нанести её на сибирскую берёсту, переработанную ИКЕА в чудесный блок для заметок, или на глобально-безликий козырёк бейсболки. Пересказываемость хромает позади. Выросшая, природно-ризоматическая, ароматическая *hoto* баба-рассказчица. И это тоже – название блюда, за которое меня никто не поставит под наблюдение, даже ради шутки в цюрихской Гесснер-аллее.

«Вост. Дух» представляет: рассказочная *hoto баба* – мерхаба, тешеккюрлер, мерси большое, нам не терпится расслабиться при помощи культурной карусели.

«Мне чудно», как здесь говорят, выражая любопытство к чему-то. На этом месте хотелось бы подилетантничать пошвейцарски, от растерянности иногда случается маленькое чудо. Повернём хотя бы колесо фортуны, если уж нельзя повернуть назад колесо времени. История одной композиции, которая объясняет переходную фазу к сути дела.

Между прочим, у меня есть один любимый писатель, помимо Диккенса: Александар Хемон. Я потом перечитаю его вдоль и поперёк, когда буду на пенсии и со свободным временем, или дождусь открытия нашего бистро, где это пойдёт, в обществе читательской группы. А пока – вот кусочек из интервью с ним:

«Разница между истинной и вымышленной историей состоит по мнению большинства читателей в том, что последняя содержит выдумку, но в языке боснийцев, как и в других славянских языках, этой разницы не существует. Мы делаем различие между правдой и неправдой, а не между выдумкой и невыдуманым (...)»¹.

¹ В "NZZ" от 22.4.2014.

Чисто писать

Было бы адекватнее писать акварелью, чтобы клише средиземноморского тепла, мечты туриста и в общем весь шарм (по-русски: Хармс, Даниил) преподнести так наглядно, чтобы даже в мыслях не возникло, что нечто подобное могло происходить где-то ещё, кроме Крыма. Но мне не удастся подтвердить неповторимость. Следы трансформации, которую суждено претерпеть акварельным эскизам при переводе в вербализованные очертания, мне не спрятать.

Империализм как впрессованный импрессионизм: я вообще не отличала в гавани красивую природу от военной техники. Солнце отражалось в кораблях так же, как в листьях акаций. Зелёные тона, запахи масла. Воздух, напоённый желтизной, белые цветы акаций. Единство, не немецкое. Всё подходило одно к одному, я сама тоже. Однозначно. Я была частью целого. С моими двумя косичками, красными бантами, вздором в голове, однажды и вшами в волосах и едким керосином для их истребления. Огонь пожара на коже головы, свежееотмытой от вони, лоснящейся и как заново народившейся, внизу на заборе перед родной двенадцатиэтажкой. Другие дети меня спрашивали, куда это вдруг на целый день пропала.

Бесконечные летние каникулы грозили разом исчерпаться. Я пойду сразу во второй класс, объявила я, ещё ни разу

не ступив на порог школы, и кто-то сказал: «Вундеркинд». Звучало у меня в ушах как Кинг-Конг. Ничего обидного, подумала я, главное снова очутиться среди вас, моих любимых монстров, во внутренних дворах безграничной наружности улиц, а не внутри на седьмом этаже. Никогда бы я не подумала, что однажды пропаду оттуда навсегда.

Эту окраину, этот город, этот полуостров и, вероятно, Россию – этот огромный покров героев над моей обесвшивленной головой – я любила без всякой амбиваленции.

Сегодня в ассортименте: *бутерброд империи*. Любовно запечённый сэндвич из сдобной плетёнки, три слоя, подплывает при подаче как корабль, в рот так и прыгает, как свежеразмороженная *семилетка* на улице, в платье в горошек с рукавами, присобранными в «фонарик». Бутерброд обещает блаженство ничего не понимающего вундеркинда. Или другой бутерброд с Восточного вокзала – откидывается, захлопывается – моцарелла на чёрном хлебе из дрожжевого теста, поедание под кантату Моцарта, толика Габсбурга утоньшает европо-критический вкус, помидоры, базилик, вперемешку окрашенные купола церкви, блины с икрой или чечевица. Наш «Вост. Дух» ещё зреет под красной кожей. Наша жизнь может быть стройкой и не одной. Безродной, беззаботной, бесстыдной.

Корабли и ремонтировали в порту, это я помню. Их могли поднимать, и кран походил на гигантский вопросительный знак.

Школа для дураков

Любовь к городу входила в школьную программу я не могла иначе, мне имплантировали в лобные доли мозга аппарат с названием *Digging towards history*. Не towards, а позади. Нет, позади – никогда, всегда только вперёд! Я ведь стала уже октябрёнком, почти что пионеркой. Никогда не стояла в почётном карауле у Вечного огня. Не носила красный галстук. Красный, как кровь, как революция, алый, как утренняя заря в порту над внуками героев в городе-герое и как ждущий нового выхода в море крейсер *Аврора*, одно название которого уже ласкает слух, как первые, ещё неопасные для анемичной, бедной меланином кожи, солнечные лучи, предвосхищающие день, который решает всё в будущей биографии.

Учитель истории стоял у доски или между рядами: огромный мужчина с сизоватым лицом – то ли распухшим, то ли в рубцах, из лягушечьего ракурса гротескно искажённым – и строгим голосом. Он диктовал кровожадные ужасы. Когда в восемь или девять лет ты занносишь историю города в тетрадь в клеточку – десятилетие за десятилетием, войну за войной, одно число жертв за другим, – а на полях рисуешь косички, чтобы лучше сконцентрироваться; когда ты перед следующим уроком проходишь каждое пушечное слово, прогребовавшее на бумагу из этого массива, словно чётки, когда ты по несколько раз перечитываешь и учишься воспроизводить это

более или менее наизусть, то всю твою жизнь ты будешь жить в плену этого слоя абстрактного страдания, подкормленной гордости и победно-торжественно-скорбного чувства, в центре старого доброго черноморского мира. Ведь добровольно, нет? Ты точно такой же его инвентарь, как ион – твоя кулиса, без таких людей, как ты, он бы рухнул, ты несёшь его с собой и вовне. А что касается героев, тут у тебя дыхание пресекается оттого, как храбро они сражались, эти притягательные мамонты в мавзолее урока истории. Однажды ты внезапно замечаешь, что могла бы и остаться такой же, окончательно и по-настоящему. *Когда я стану великаном...* Название фильма, снятого в Севастополе. Остаюсь я там, я была бы пишущей стихи школьницей средних классов, которая в лифте многоэтажки поднимается ночью наверх.

Ты замечаешь, что у тебя нет шанса жить ни с той историей, ни внутри неё, ни на её поверхности, ни в сливочном содержании правды, которое она могла бы иметь для этих ставших фиктивными людей, которые для тебя были так же нормальны, как униформы, школьный завтрак и томатный сок в огромном стеклянном конусе у троллейбусной остановки. Ты не убежишь от неё, тебя макнули в эту тунику из тонкой синей школьной шерсти, и чем сильнее ты стараешься соскрести её с себя сладким печеньем *Russischbrot*, сухими углами твоего строптивного немецкого, тем больше замечаешь, что эта патина покрывает тебя благородной сединой и морщинами сомнений. Гнев воюющих героев, доспехи жен-

щин-рыцарей, индустрия морской гигантомании делают тебя уязвимой, и ты ищешь место, где это не действует. Тихие стежки стихков – ахиллесова пята, не иначе! В этом месте царит нехватка рифмы. В Леймбахе таблички гласят: запрет на верховую езду. В Реймбахе ручьи смывают ил с дурных рифм, если они до него достают. Мы хотели бы вновь захмелеть у Рейнского водопада. И вернуть символы в жёсткие рамки.

Там – и в воспоминании: ты бежишь по ней, ведь история несёт тебя, на каждом квадратном метре, который, как мы знаем, пропитан кровью двух годовых осад, в Крымскую войну и во Вторую мировую. Кровь и почва, это тебе ещё ни о чём не говорит, ты впитываешь это как одиножды один, это первое абсолютное знание, и становишься отличницей по математике, потому что твои родители предсказали: как дочь двух инженеров, ты будешь способна к точным и естественным наукам. По ходу учебного года ты понимаешь, что учитель истории вовсе не злой, а состоит на службе любви, каждым сантиметром своего импозантного роста. Колосс миннезанга. Он влюблён в город, во все многочисленные, подающиеся учёту и всё же непостижимые ситуации, которые выстрадали герои его учебных историй. Он подводит тебя к купели местного патриотизма – и в ней же тебя топит. Нет, он крестит класс, чтобы тот верил ему, невзирая на урчащие пустые желудки 90-х годов и на бизнес – и жизненные цели, позднее сделавшие полкласса созревшими покинуть город,

страну, не подходящую городу, не подходящую новой Украине погибшую Советскую Россию, не подходящую старому Крыму имперскую шумиху, весь тот набор долгосоветских и примитивно-антисоветских отношений, этот «конструктор» из никогда не поддающихся сборке кубиков Рубика. Массово покидали, но никогда не забывали. Мы только не научились придавать памятному городу и произвольному диктату воспоминания другие значения, кроме заданных, унаследованных. Придавать и прощать, создать бы такой учебный семинар.

Он не мог ничему помешать – время пришло, как и должно было: имперская крымская шумиха. *Крыматорий*.

Памятники Ленину, Нахимову и Суворову (подтягивается и переход через Альпы) – в этом смысле – памятники для нашего учителя истории. Как они взирают со своих постаментов на сократившееся с годами население! Им уже не вернуть прежнего величия, все гласные сделались полугласными, а оставшиеся аморфные скульптурные массы можно уподобить школьным классам на перемене во дворе, а то и туристам, проходящим мимо или поджидающим кого-то, – им не слишком рады, потому что они всё равно приходят, хочешь ты этого или нет. Памятники всё реже говорят людям о чём-то, они становятся свидетелями суеты внизу и вокруг них на пустеющих и вновь наполняющихся площадях, свидетелями переписывания истории, когда площади Свободы становятся местами вознаграждения за предписанную демократизацию

– и они видят, как сцена наносит ответный удар лицедеям.

Что говорит мне *город-герой*? Что он сопротивлялся остальному миру на 200 лет дольше, чем я? Что русский мир в касках возвращает его естественным образом в русскость, что он сияет в своём историческом и культурном превосходстве даже и не по-русски, дополняя северное сияние. Пёстрый букет – без которого не может быть накрыт ни один торжественный праздничный русский стол. Как-то так. Я спрашиваю себя, в моей детской наивности, которую я не могу стряхнуть с себя, разве что иногда в *sophisticated German*, но и здесь лишь так себе, как русские солдаты были замаскированы в Крыму, я спрашиваю себя в экзистенциальном непонимании, что теперь означает «русское» для других и для меня. Я могу постичь это меньше, чем украинское, с которым я эмоционально дохожу до границы, так сказать, внутренней, личной границы приличия и дистанции. Русскому, каким я его знала, я давно разучилась, онемечилась и обозначаю это ещё раз: я впустила в свою взрослую жизнь этого захватчика, базирующегося в родном порту, только с рождением моего сына – не в последнюю очередь со словами вежливости. В качестве доброго *зелёного человечка*, который из отчуждения всего вокруг превратился в единственно собственное. Это не вина сына, он говорит, вторя своему отцу, что он немец, а я русская. Он мог бы мне выписать паспорт. Я уверена, он найдёт решение, учредит эффективное и честное государство насекомых – Инсектенштаат. Тогда я буду

его инсектианка. После чего мы чокнемся крымским сектом, не сталкиваясь лбами с коллегами и не беря себе в голову новые аргументы и факты.

Пожалуйста, добавьте на полях меню «Вост. Духа»: крымский сект, игристый, чокнутый, ударно-возбуждающий.

Наш учитель истории был не меньше двух метров ростом (я уже упоминала это?), он был таким же огромным, как значение этого города, а его уроки действовали на нас как массаж всего тела. Итак, весь класс учил наизусть его надиктованные лекции по истории, чтобы хором в разных местах мира невербально разглашать их. Я слышу, как другие прислушиваются к временам школьной униформы, я вижу их сидящими перед телевизором и слепо вздыхающими, моя татарская одноклассница чувствует нашу веру в непоколебимость нашего тогдашнего города: и все мы едины в нашей разъ-единённости. Мы давно забыли, какие даты и битвы тогда у нас в одно ухо влетали, в другое вылетали, но теперь мы стали пионерами в метрополиях этого ещё не затонувшего мира. Галстуки взлетают в воздух как шляпы с острых умов бургеров. Тем не менее, в следующей поездке в Москву настоящий русский этого не увидит, ему нас не понять своим застывшим сердечным холодцом, следы крови выводят на ложный след.

Наш город изнежен, заметьте, мои героини. В продолжение всех войн длится эта жалкая оборона, почти столь же долгая, как беременность, а потом она падает, с почестями,

полная невредимых пострадавших. Уже, кажется, давно пострадали, но нет, дело обстоит так, будто осада ещё видима – как досада быть забытой невидимкой. Вдруг в этом городе, с вашего разрешения, ровное возрождение с проводами для праздничной иллюминации. Провода разбегаются лучами как трубопроводы. Если в Бельгии прокладываются подземные трубы для пива, то Москва давно проложила тайный туннель в Крым для закачки мифа. От историков железной дороги это ускользнуло. Увы, историю тоже можно утаить, сохранить и родить.

Во всех остальных местах, конечно, потерпишь провал, хотя был себе на уме, но не страшно. Нам успешно вбили эту обречённую на неудачу любовь к пространству – потерпело поражение и это, разве что мы транспортируем её на планету нашего мира представлений, вместо того, чтобы парализованно наблюдать, как желтеет последний остаток неустанно спокойного летнего детства. Наш город, священная королева, чреватая историей, что из него выйдет? – Чего только он не выдержал. Тогда и мы выдержим многое и много битв с мельницами, независимо от местонахождения. Смотрите же, эти сильные крылья, что вращаются на ветру! Турки, англичане, французы и немцы и кто там ещё, кто знает, когда и кем закончится собрание.

Полуукраинским русским из Москвы. Небесные глаза, пшенично-русые волосы, симпатии падают то на чёрную землю, то на Чёрное море. Он похож на мою лучшую подру-

гу в Берлине, а через двадцать лет, пожалуй, будет похож на Хрущёва. Он ещё никогда не был нигде западнее Белоруссии. Он подарит мне назад мой Крым? По крайней мере, Кострому, Можайск, Бородино, Полоцк, Ростов-на-Дону Коровье, Пахтино и Псков он послал, и меня туда же – чудесные фото с пространными объяснениями по архитектуре и истории, так что здесь искусство стоит в центре жизни, в простой жизни человека, о котором мои друзья спросили бы меня, из какого русского романа он родом.

Он возникает сам собой в аэропорту, в отглаженной рубашке, с горячей головой и обезоруживающим рецептом из приличия, плана путешествия и шуток. По дороге в город он смахивает слезу растроганности. Неделю спустя в поезде на Домодедово у него идёт носом кровь. Он говорит, что у нас нет ничего общего. Логично, жёстко, неопровержимо. Это его не остановило перед тем, чтобы понести меня на руках, когда дорога к монастырю в босоножках стала непроходимой.

Я смотрю на всё, что он с трепетом показывает, и вижу нечто, чего он не хотел бы видеть: он тоже постоянно работает над своей идентичностью. Со времён коллективного переходного возраста 90-х и тех времён, которые мы разделили бы, останься я «там». Он укрепляет её, гордо претендуя на древне-русские места, и дышит их *genius loci*. Как бы сильно ни привлекала его духовность и эстетика священной истории, религию он отвергает. Он лазит по островам монасты-

рей, служивших нацистам для тренировки по стрельбе, а десять лет спустя ставших здравницами. Остатками фресок он напитывает свой личный опыт за МКАДом капитализма – фрагмент за фрагментом, уголок за уголком.

Пока православная церковь и государственные музеи спорят между собой, кто должен реставрировать столь чуждые и столь родные ареалы монастырей, он входит со своим намётанным глазом и взведённой камерой в церковные нефы, искренне защищая свой атеизм и вылетая вон, как только священник пытается наставить его на истинный путь, – вон в своё как пространственное, так и временное кочевье. Москвичи спрашивают меня, где я откопала такой советский экземпляр моего возраста, он давно уже стал раритетом в нашем поколении.

Моя машина времени ведёт меня попутно железнодорожной ветке, которой я, должно быть, уезжала из Москвы в Берлин. «Видите, ваш поезд с родины проезжал мимо Бородина». Он фотографирует меня на провинциальном вокзале, пронзительно уводя меня в прошлое. Мотив при нажатии кнопки: устало улыбающаяся туристка, прошедшая поле битвы с танками и приручёнными журавлями, у красной электрички в мужских носках на натёртых ногах, позади Наполеон и Вторая мировая, поглядывает на мирное закатное солнце.

Мы вдумчиво читаем *Войну и мир* Толстого, прежде чем разругаться после Бородина. Я вижу, он смотрит на предвзя-

тость, которая до сих пор встречалась мне лишь как школьный материал и в тетрадке интерпретаций к драме идей Лессинга *Натан Мудрый*, как на историческую правду. Я вижу, как вспыхивает проекционная моторика, и прилежно тушу её, когда слышу: «Но что общего у всего этого с моим отношением к вам?»

Меня очаровывает его пост-волгодонский проект. Он родом из южно-русского города, который вырос из земли – или, пожалуй, из Волги – как советский промышленный проект. Маленький город на водохранилище, в котором не хранится почти никакой истории. Теперь мой спутник пытается наполнить себя огромной досоветской историей. Он видит её сохранённой в его *Центральной Европе*, «центральной зоне», как он говорит, – в радиусе ночной поездки на поезде от Москвы. Где-то там и «его» деревня, которую он заново отстраивает, с палисадником перед избой. Он не желает слышать, что ландшафт из окна поезда похож на Бранденбург, Мекленбург-Померанию или Польшу.

Я пишу ему: мои родители и я подаём заявление на гражданство, мы (мы?) хотим узаконить то, что мы, крымчане, чувствовали, чувствуем и будем чувствовать себя русскими, аминь. Он этого не одобряет. Я должна оставаться для него Западом, а он для меня – Востоком, нам не надо двигаться с места. Ему требуется различие, чтобы чувствовать свою историю, а мне – симбиоз, чтобы следовать моей истории. Зачем вам это? Он спрашивает это в точности как русские из

посольства.

Мы чокнутые, пожалуйста, никогда не обменивайте советские паспорта родителей. Это музейные экземпляры! Уже одно то, что излучают их лица – куда более молодые и куда более утомлённые – на никогда не выцветающих чёрно-белых фотографиях, – пронзает насквозь. Позвольте мне только – без консульских проволочек – переписать моё детство с опытом, перешагивающим через визы. Иначе мне придётся построить здесь машину времени, а ещё лучше – машину пространства, подъёмный кран, поднимающий настроение э-кран (электронный кран) – и надеть очки Dolce&Vita для прямого провидения советского way of life.

Тогдашний урок истории заканчивается упражнением в переводе. Москва, не будешь ли ты так любезна построить дополнительный трубопровод, вложить дымящуюся трубку в рот кому-то, кто способен поэтически выдувать из русского в немецкий? Выдуть облачка слов, которые – как источник изначального потока – дали бы меткому слову просочиться в мой речевой поток. Это было бы полезное изобретение лучшего будущего.

И вот милый неославянофил, ощетинившись, пишет примерно следующее:

Привет, Т.!

Спасибо за фотографии. Некоторые подписи под картинками вызвали у меня улыбку, иногда из-за Вашей иронии, иногда из-за весёлой орфографии.

Современный Берлин, судя по этому, напоминает общим колоритом Москву или какой-нибудь другой русский мегаполис. Наверняка имеется и определённая специфика местных условий, и тем не менее доминирует дух глобализации. А я-то полагал, что в Европе этим не страдают, однако и бабушка Европа изрядно затронута этим. В России, правда, глобализации содействует одна национальная черта характера... Это очень хорошо описано в рассказе Лескова *Запечатлённый ангел*:

«Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

– Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновлённое, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела».

Кстати, коль уж я упомянул Лескова, рекомендую Вам прочесть его рассказ *Железная воля* о различии между русским и немецким национальным характером. Я уверен, Вам понравится».

Опрятная адресаточка отвечает дневниковой записью из ранних произведений забытой поэтессы из Райникендорфа незадолго до смены тысячелетий. Этот актуальный пример иллюстрирует национальный характер, который не спутаешь ни с чем, так он трещит и скрежещет:

Новый год

Мне снился в эту ночь
большой салют
в маленьком Севастополе.
Неброские в старой одежке,
люди стояли на козырьке,
благоговейно глядя с горы
туда, где базар
и где меня нашли в капусте.

Яркие звёзды быстро
взлетали, медленно падали вниз
за знакомые здания.
Свеже лучились фигуры,
улыбчиво и живо,
ромбы и овалы.
Девочка с косичкой в белом фартуке,
школьный подворотничок мальчишек —
всё это стало тесным.
Едва родившись, уже выросли.
Ароматы имён как пряности.
Вещи имели свой масштаб.
Небесный фон —
занавес из тёмного бушлата —
я молча прорывала раной губ.
С дедушкой семечки лузгать
в звуках солнечного кларнета
на площади прогулок,

на праздничной лестнице в тенистом уголке.

Навеки пышет панорама:

Нахимов, мужество матросов и что-то там ещё.

Над головой простёртый кров.

Фланель розовой пижамы.

Буревестник

Оползень земли, холощёные слова, утрата места. Словно проливной дождь, научная речь разрывает землю, питает знание и даёт ему смыться, впрессовывает физически вспомненное в грунт, грязевая масса засыхает, и широкое славянское лицо – год за годом, нападение за обороной – сужается на германский манер, пока не перестанут спрашивать, откуда оно, чьё оно и весь этот Кр-крам, на что и сами спрашивающие, вероятно, ничего не ответили бы без комплекса тем, спроси у них то же самое об их при – или переезде, передетости и перенасыщенности, восточности, западности или выбранденбуржуазности.

Я могла бы сказать, моё детство было хорошим. Моя Аркадия – мой Аркадий, которому я тайно поклялась в вечной любви. Или ещё что-нибудь романтическое. Из этой же серии. Вовсе не кажется извращённой одержимость местом, как и способность – здесь или там – любить. В тот момент, когда здесь, на лучистом лугу у озера приличного города это ощущается как пошлость, отчуждаешься от выразительности. Пафос – как витамин с минным дном, как сформулированная толкотня текста, формула, задающая форму, освежающий атрибут и как критический штамп – захватывает, не сближая, создаёт дистанцию, о которой читаешь, что она успокоительна – и так далее, дальше, дальше... Сопротив-

ляйтесь, чтобы не пойматься на это. Такое ласковое лассо.

Но что, если ты слишком юн, ещё доиронично глуп, невинно попадаешь в ловушку пафоса и мнишь себя равным ангелу в раю: спаянность, связь, и смеяться над этим никто не будет. На такое отношение к этому городу, к этому полуострову откликается Советский Союз (или его инкарнация а ля рюс): Ура! Никакой зависти, такое низкое чувство в качестве реакции опускается. Беспризрачное признание. В этот момент вид причастности к городу, из которого для меня и состоит Крым главным образом, который – что бы ни было – остаётся почётным героем в том самопонимании, памятник и памятка, ёмкость и окоём, который моделирует контуры рельефа.

Пафос не подходит к культурам сдержанности, замечания моих родителей не подходят к политическому консенсусу в Западной Европе. Я прислушиваюсь и к тому, и к другому, бесстрашно, говорю я, бесстрашно. Рыбка в аквариуме. Внутренний *рисмоскот* убит. Из меня что-то получилось, как я слышу от других. (Свиная колбаса?) Они удивляются, когда слышат, где я родилась. Затем следуют упомянутые фразы похвалы, по которым можно заключить о скрытых за ними фразах веры: как хорошо я овладела чужим языком, – свински хорошо, – как я вписалась, по мне ведь ничего не заметно, а если и заметно, то лишь минимально, это я сделала хорошо, мне повезло.

К настоящему времени травмы смылись настолько, что их

будто бы и не было, они будто бы совсем не запечатлелись на мозговой пластине, они будто бы на морском дне. Я, наконец, освобождена от моей скалистой горной породы. Равноценна другим на Западе, гражданка. Насколько я в этом хороша, разве это моя профессия? Боюсь, что, к сожалению, нет. Я больше не ищу стратегии дистанцирования, я ищу сближения, той бесстыдно пульсирующей близости, которую я тогда и там переживала всеми чувствами, так мне кажется.

Путин, мол, ловко провернул возвращение Крыма. Это была хорошо продуманная акция, в подходящий момент времени, она не потребовала ни одной жертвы: Украина расшатана и без выбранного правительства. У Путина нервы выдающегося шахматиста. Крым – это ключ к Чёрному морю. У кого Крым, у того и власть над морем. Этот опорный пункт не заменишь – ничем и никогда. Только там есть сухой док. Знаю ли я, что это значит? Возможность чинить корабли. В черноморской зоне такой возможности больше нет. А на севере Крыма находится особый аэродром со взлётной полосой протяжённостью в километры – для советского варианта космического шаттла, для «Бурана».

Буран неизменно напоминает о *Буревестнике*. Так назывался продовольственный магазин рядом с нашей многоэтажкой. Маленький балкон нашей двухкомнатной квартиры выходит на крышу «Буревестника», сокращённо «Бурик». Я знала, что название магазина обозначает птицу, которая возвещает бурю, когда летает низко над водой. Но «Бу-

рик» на слух напоминало «буряк» – украинское обозначение свёклы, важнейший ингредиент украинско-русско-белорусского борща. Польского тоже, но в самом конце. Иначе список слишком быстро проведёт границу: борщ – Бельт. А мы знаем, свёклу мы едим даже здесь.

Поэтому я понимаю волнение моей матери из-за того, что в этом магазине никогда ничего не купишь: свёклу я действительно никогда не видела в «Бурике». Сегодня я замечаю, что это название скрывает в себе и Запад. Было бы лучше всего, если бы наш магазин назывался *Буревестник Европы*. Тогда бы можно было, когда полки в начале 90-х годов опустели, считать их одну за другой как веские строки *толстого журнала* с одинокими батонами в качестве запятых и восклицательных знаков, призывающих на помощь.

Однако не магазин возвещал мне что-то, а я была разведчицей. Я давала знать, когда к магазину подъезжал грузовик и разгружался: поставки тотчас звали меня наверх, в квартиру – взять денег и вступить в битву за добычу, взвинтить сонное послеполуденное благодущие и не в последнюю очередь мои ожидания наесться. Бегом на седьмой этаж. Лифт часто не работал из-за отключений электричества, предвещая близкую стагнацию страны. Смена голода на не-голод как предвкушение подъёма в гору, причём я уже привыкла между делом оставаться в низменности. Решающий шаг при охоте на продовольствие: умелое, терпеливое и разговорчивое стояние в очередях. Уже здесь учишься захватывать и ок-

купировать определённое, стратегически важное пространство. Товар, по крайней мере, всегда был свежий, если он был. Или на вкус был таким, из-за усилий. Так же, как Крым всегда останется привлекательным, даже если там взорвётся при очередном землетрясении атомная электростанция или горы мусора при всеобщей застройке перерастут Аю-Даг.

В одной из очередей две женщины, стоявшие за мной, «узнали» меня и сказали, что рады видеть меня такой, какая я есть. Ребёнком я вылетела из коляски, за которой должен был следить мой средний брат. Он сидел с коляской на холме, к которому прилегалась главная улица нашего района, довольно высоко наверху и читал, наверное, один из своих любимых романов Агаты Кристи, куда более интересных, чем спящий младенец, если честно. Любовь к скорости действительно была положена мне в колыбель – или из колыбели. Коляска полрайона катилась с горы, пока не опрокинулась, а я выкатилась из неё и из одеяла. Одна из этих женщин снова завернула меня, история не повлекла за собой никаких осложнений.

Двор магазина и его крыша – это были взлётно-посадочные полосы долгих вечеров. На обеих площадках было хорошо играть в бадминтон. Наши ракетки заставляли воланчики ракетами взлетать в воздух. На этом дворе, кстати, собирались жители при землетрясениях – вблизи своих жилых домов и вне досягаемости потенциальных обломков в случае обрушения. У крыши *Буревестника* была ещё одна особен-

ность: в одном месте она была неровная, там после каждого дождя скапливалась лужа глубокой черноты. По Овальному озеру мы с гиканьем носились на велосипедах, растопырив ноги, как танцоры «казачка» в прыжке.

Землетрясения. Земля, которая становится зыбким морем, а иногда для разнообразия: цунами – такое у нас тоже было, к счастью, в маленьком формате – тряхнёт раз-другой, без серьёзных повреждений крова. Момент, когда понимаешь, что это – землетрясение. Чаек ещё не натренировали настолько, чтобы они могли предсказывать сдвиги земной коры. Однажды после обеда, в общем изнеможении полетнему полного арбузного живота я играла с подружкой Викой с десятого этажа: я показывала ей мою филигранную, бело-голубую кукольную коляску, в которую я уже однажды за-сунула котёнка и катала его. Внезапно коляска целеустремлённо покати-лась по бордовому ковру с жёлтым растительным рисунком из одного угла комнаты в другой, скатилась с ковра на линолеум и опрокинулась.

После этого в некоторых домах стало на несколько трещин больше. Никто не знал, последуют ли ещё толчки. Я упаковала пластиковую сумку с самыми важными игрушками – на случай, если придётся бежать. Ночью я размышляла, можно ли сбежать с седьмого этажа вниз так резво, чтобы дом никого не успел похоронить под обломками. Чуть позже моя мать странным образом уехала – понятия не имею, куда и зачем, обычно мои родители никуда не уезжали порознь. Я

чувствовала себя невероятно взрослой – я была одна с моими статистически-статичными размышлениями: в моём расчёте был предусмотрен шанс, если верхние этажи нашей двенадцатиэтажки рухнут первыми.

Я лежала в постели и упражнялась, напрягая нужные мышцы нужных конечностей, как при малейшем землетрясении схвачу эту пластиковую сумку с тем, что потом окажется необходимо для выживания, упакую её ещё полнее, надену на себя что-нибудь и буду сбегать вниз по лестнице этаж за этажом. Однако какие бы математические выкладки я – прогнозируемый гений математики – ни проделывала, задача не решалась ко всеобщему удовлетворению. Мои родители не появлялись в этих упражнениях: как и в остальных случаях, они блистали отсутствием. Я начала радоваться, что мать в отъезде – она была в безопасности, в другом городе, в другом состоянии земли. Не знаю, где тогда были мои братья. Помню только, что отец позволил мне упаковать игрушки и чемодан с одеждой. Он так и не перепроверил эти сумки, ему было всё равно, чем я их наполню, в отличие от матери, которая бы тщательно обследовала необходимость каждого предмета и что-то отсортировала бы.

Таким образом хотя бы в этом отношении я была готова, когда год спустя мы покидали двухкомнатную квартиру с мебелью, домашней утварью и всем её цельным миром, у каждого по одной сумке. Квартиру, многоэтажку в севавтопольских Остряках рядом с *Буревестником*, штормопредсказа-

телем, на которого в перестройку не было никакой надежды. В качестве тайного дополнения я сунула в сумку пупсика, невзирая на родительский запрет брать с собой игрушки. Немного спустя я предложила матери – когда она в отчаянии размышляла, как провезти через границу кольца, утаив их от алчных погранцов, – по-младенчески крупную голову пупсика для контрабанды драгоценностей. Немного золота и пара рубинов были единственным товаром, резистентным против инфляции. Кроме того, в некоторых славянских семьях есть традиция, что женщина после родов получает от мужа в подарок какое-то ювелирное украшение. На моё рождение мать получила кольцо с рубином в виде ромба, и она его сохранила.

Моя выдумка удалось, пограничники – в отличие от меня – не интересовались, как растут у куклы волосы. Мать назвала меня разумницей. Чуть позже: моя куколка. Целая стилистика разделённой на составные части демонстрации любви. Ещё позже эта изящная *ювелирка*, которую я стала замечать в общественном транспорте и на других женщинах с советским прошлым – с некоторым разочарованием в стандартности этих ценностей, – последовала в круглый кухонный горшочек, а одним прекрасным летом уплыла по течению Леты. Только гордость ею осталась непереплавленной.

Центрально-европейка

Доклад в Вене перед полным залом слушателей. Будь то ряды людей или строки текста, в этот момент надо научиться говорить, и я выбрала себе тему, которая пришла мне в голову, когда я наводила порядок и выбрасывала стопки бумаг последних лет. Тема запала в душу, как говорят русские, и прежде чем эти листы упали в мусор, я захотела их немного переписать, раз уж так выпало. Записки о «центрально-европейце». Мне надоело, что его понимают так, как в последние десятилетия трактуют западно-украинские интеллектуалы. Я хотела бы понимать его более гибко, более текуче и дружелюбнее по отношению к позиции Запада и Востока. Вместо того, чтобы ждать от Востока свободы от несправедливости и поучать его свысока, можно начать с такого общения, которое не предполагает несправедливость и незрелость; это не приведёт ни к чему доброму.

Некоторым образом нам придётся понимать центрально-европейца или ещё лучше центрально-европейку так, что она дотянется до Крыма и достигнет Москвы, причём Москвы весенне-футуристической, а не как burning-вестника, огненную фурию. Она и без того уже была перестроена так, будто 90-е годы принесли с собой городской пожар, такой же опустошительный, как пожар наполеоновских времён.

Если позволить себе набросать идеальный человеческий тип, то уж, пожалуйста, как перекидной мостик, а не как мелкаячеистую сеть для отторжения, отказа, отделённости. «Русские» поглядывают – по традиции – из своего срединного положения как на Запад, так и на Восток, так и на себя самих с презрением из-за оборонительного бруствера. Или нет? На Запад – достаточно часто с мыслью, что там горит надёжный огонь жизни, хотя их собственный – жарче; и они должны лелеять и питать собственное достоинство, чтобы выдержать разницу, или копировать, превосходя Запад, побить его козырем, показать ему, как бегают заяц. Ну, Запад, погоди! Кричат витрины петербургских и московских променадов, как будто Пётр или Екатерина тщательно обустроили их собственноручно.

Было бы самое время по-джентльменски протянуть руку этим прохожим, а то и обнять их этой рукой, выпить чего-нибудь вместе, ещё лучше: вместе хорошо поесть и подумать «как о том, так и об этом», чем проигрывать *outfashioned* образец «или – или», который даже моё поколение ещё слишком хорошо помнит по Холодной войне. 25 лет назад упала Стена. Её переиздание неуместно. «Фешенебельно», – говорят по-русски "*fashionable*", и я думаю, это ни *fesch*, ни *feldwebel*-но – усердствовать в проведении границ, тогда уж лучше туманно-хмуро смешать их и искать в тумане философского ёжика.

Во время информационной войны я, вероятно, промахи-

ваюсь мимо всех стульев, будь даже так: я отказываюсь от активного участия в строительстве новой стены, это outer space, этот холод из уютной западной гостиной или из тёплого русского дивана. Позволю себе предубеждение: я думаю, что связующего можно достигнуть женщинам (без косы, повязанной вокруг головы короной, она слишком сужает лоб) скорее, чем мужчинам, у нас есть понятие о моде, мы выкроим новый модус, это будет облекать нас там и тут, будет нам к лицу и поможет сохранить лицо. Пусть лейблом будет «МЕ», потому что, как это бывает и с другими коллекциями, будут и другие лейблы.

Я перевожу письмо в посольство Российской Федерации насчёт соискания гражданства и прерываюсь, не перевожу дальше и не переведу никогда ни для моих родителей, ни для себя, не спишу его, не подпишу его. Я перепечатаваю эту написанную по-русски бумажку, делаю ставку на неё, растроганная тем, что эти слова всё же важны для нас, правда, и постыдны. Адресат и пальцем не пошевелит, именно так, как мать меня упрекала тысячекратно. Я даю дёру, я уезжаю, я не адресат. Может – прохожая, уезжающая и приезжающая странница. Я беру разбег, в изгнание, в экскурс.

Сама я никогда не имела советского паспорта, я была вписана в паспорт матери. В Берлине в течение восьми лет я была без гражданства – отговорка, чтобы никуда не ехать и ничему не принадлежать. Тогда и там, по слову: да будет так. Я даю гражданствам и гражданам этих государств отставку на

все четыре стороны, паспарту в рамках моих возможностей:
я пасую.

Недосягаемость/недоступность

Диссоциация, затруднение восприятия. Снаружи с усердием ассимилированное, внутри неукротимое дитя, которое другие точно очертили словами «чѐ так печально глядишь?», прописывает себе громоздкую аутентичность. Еѐ оно будет придерживаться – как раньше придерживалось порхающих бантов на косичках (красных, как будущий галстук). Слово, слетевшее однажды за кафедрой при чтении культурологического реферата, погружается в колодец прелого чувства «Я». Стекает. Им можно напиться, умыться им, оно может размыться до берлинской серой мути. Или расстелиться на выгоне, так выводятся самые стойкие пятна. На краю города, щедро зелёном, где слово даёт себя уговорить под вечер, без продлёнки, не накапливая старых словарей.

Громоздкое в языке, его отклонение от обычных речевых форм Виктор Шкловский называет *остранением*. Оно необходимо, чтобы по-новому воспринимать вещи, слова, людей, увидеть необычные взаимосвязи, поискать разные перспективы. Именно в этом лежит ключ к искусству, отнюдь не тайный, лишь чуть выгнутый, чтобы не слишком быстро открыть доступ к нему. (*Устранение*, что за понятие. Состоит из двух слов: Ost (восток) и *ранение*).

Следовательно, для меня не должно казаться чудовищным – овладеть мнимо родным языком как мнимым. Схва-

титься за голову, тихо расплести сдобную плетёнку. Дело с немецким сдвигается с мели. С русским всякий мейл всякий раз становится греблей вдоль невидимого берега. Всякое активное применение – воспоминание об окончательном прощании с первым родным языком, с настоящей матерью, питательным шоколадным маслом на бутерброде дня рождения, с праздничным чувством советского ребёнка.

Поначалу читать по-русски и писать по-немецки, по-английски двумя словами ругаться на себя и на тебя, на них и на вас, слушать речитатив Мани Маттера и Высоцкого, включать французский шансон, отфильтровывать английские субтитры.

Если нельзя избежать автобиографического изложения, в каждой новой констелляции, на каждом новом месте, с каждым новым человеком стоишь (должен стоять) на неустойчивом и выкатывающемся из-под ног скейтборде культурных основ идентификации и должен видеть в этом продуктивную площадь трения, с лёгкой руки присасываешься к «как-нибудь». Начала, которые сводятся к странным окончаниям. Не-синтаксис, в котором сидит синергия. Непроницаемые правила множественного числа; иногда это происходит за стеной дождя, если смысл проникает сквозь неё.

Ведь может быть так, что снаружи вообще нет жизни. Только в кривоколенных переулках, нетронутых Второй мировой войной, пощаждённых невыносимой тяжестью тех комплексов тем, неспешно томящихся в их римской основе как

в «римском горшке», в благоухающих исторических центрах городов. Что делать? Взорвать башню из слоновой кости, оседлать букву, поскакать на эрзац-волнах, следуя взглядам, как в сказках – русских? братьев Grimm? Шарля Перро? – идут куда глаза глядят. Так, как следуют за строчками текста, как оббегают глазами ряды студентов в аудитории или головы публики на выступлениях. Больше ста или меньше двухсот? На сцене этого не проверишь, потому что ты часть зала, часть текста. Потому что ты сыт по горло тем, чтобы где-то вчитываться или вписываться, ты всё равно рано или поздно выпадаешь из ряда строк. Ты как бы девушка у стенки, которую никто не приглашает на танец, не нашедшая свою пару, или метательница дискурса. Тебе не остаётся ничего и всё: *потеря себя* означает полную тарелку зелёных овощей, рекомендуемых спортсмену. Ты – салат из букв, который составляет тебя, при каждом чтении, в каждой поездке и дискуссии, как только она раскручивается. Тут в тебя, наконец, попадает витаминная смесь, смузи ведь останавливают всякое нездоровье. Ты набрасываешься на краски ожидающих и опавших плодов, в падении на экран неразделённого городского неба.

Отрава

Мы говорим о постмодернистском, постсоветском пространстве, и его обитатели желают себе в значительной части, чтобы оно было не текучим, а давало возможность идентификации. Не скейтборд, а деревянный стол, ломящийся от еды. Чем стереотипичнее, тем стабильнее. Пространство, о котором думаю я, вопиет, что о нём можно думать только как о постмодернистском: как о хрупком, не только по краям. Оно – само по себе шоколадный лом, с ним бежишь – и без роликов как кочевница – по невиданным майдам, извращённо возвращаешься, *pervers, per Vers*, голубиной почтой, я имею в виду.

Может, о Крыме можно думать не только как об окровавленном, но и как об отравленном месте, как его видит Иоан Аугустин: «Другие подходы, в которых играют роль такие понятия, как *безместность, место-яд* или *отравленное место*, могли бы помочь лучше осмысливать безотрадные и аутистские территории в наших городах, чем понятия, которым дело только до красоты средневековых городов Запада»².

«Яд» потерянного первого города циркулирует в крови

² Augustin, Ioan: "ScarCity. Vom Genius Loci (ver)Gift(ete) Orte zu einem denkwürdigen Stadtbild". In: Groys, Boris u.a. (Hg.): Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus. Frankfurt a. M. 2005, S. 364–406.

как заряд иммунизирующих антител, никакое другое название почвы не может проникнуть под кожу. Заражение новыми морями и горами – в работе, Боспорский форум зовёт.

Я не еду в Крым, я лежу в нетопленном старинном доме берлинской подруги или на лугу в разогретом садике моего уютного Хюсли, чтобы наслаждаться переслащённым полуостровом как картинкой ещё нетронутого торта с кремом. Курс детоксикации – в отказе от поездки. Диета для аналитических аскетов? От анорексии я удалена ещё дальше, чем от Крыма. Ещё не вечер. Может быть, хотя и маловероятно, что полуостров отдохнёт от переломов – во всех смыслах. А пока что, глядя с моего луга: мой *Крым вновь посещаем*, представленный в «Вост. Духе». Комплексное меню, шоколадный лом на десерт за круглым столом.

Больная боязнь, что Севастополь так же перестроен и исчез, как и другие города на Востоке, Москва, Петербург, Киев и Одесса в первую очередь. Я не хочу видеть это другое, этот новодел турецкого производства, это безвкусие, перебивающее то, что было в 80-е годы. В них не будет никакого родства – только в том советском уродстве, которое я не воспринимала как таковое.

Чёрно-белые образные проявления моей личной территории, не раскрученные никакой самодовольной медийной революцией, имеют мало общего с описанием мест, богоданных и ставших важными в силу девственных блаженств детства. Они не имеют также ничего общего с желанием язы-

кового порождения, творения, демиургического создания. Речь идёт только об одном единственном – как-то самостоятельно наполнившемся переживанием, и особенно хорошо ему живётся при ударах по клавишам. Давайте послушаем шум пространственных снов.

Речь идёт о приветствии той композиции, которую, как мне кажется, я когда-то видела-слышала, хотя сама и не притопывала ногами, и которая сразу открывается подобно коробке шоколадных конфет «Шпрюнгли», бесконтрольно и блаженно растекается по телу, когда на клавиатуре прыгаешь по имеющимся в распоряжении и раздобытым, а то и вовсе беспроцентно сэкономленным буквам – по стёршимся клавишам исторического ноутбука и светящегося яблочка. Чей сладко-кислый сок пенно кипятит в супе букв (русский ритмус-мусс) несносную тяжесть проклятого отчуждения пространства, переродины, провально-весёлого письменного обязательства – в Most, плодовой сок.

Фотографии

Или Fetus, плод. Фотографии, если следовать по созвучию, а не по смыслу, – как аборт, когда делаешь их и потом сжигаешь, пока родное дитя не увидело их, как мои родители поступили с тысячами фотографий перед тем, как мы были исторгнуты погибшим Советским Союзом в Берлин-Лихтенберг. Fetus также, когда перестаёшь их снимать, и собственное дитя отчётливо видит их чёрным по белому, белому, белому, они отдаются эхом в ультразвуке сознания, переосвещённые. Мой отец был не только инженер, многие из своих снимков он печатал с нами ночами. Очень советское средство, кстати. Собирал старые аппараты, проявлял пачками фотографии. Он часто меня фотографировал, он радовался, я радовалась. Когда мне было семь, он это прекратил. Почему, спросила я его тогда, он больше не снимает? «Потому что ты больше не та милая девочка, какой была».

Настоящим событием были семейные снимки. Всем следовало приодеться, причесаться и улыбаться. Беззаботным не был никто, всегда кто-нибудь пребывал в стрессе. Времени нет, солнце как раз светит как надо, сейчас же всё бросайте, кому говорят! Меня наряжали в китайское платье, у меня их было два: одно прикрывало мне зад лет до шести, второе, купленное на вырост, я могла носить ещё и в восемь. Рюшечки, карманчики, вышитые цветочки. Я твёрдо вери-

ла, что это второе платье я буду надевать по торжественным случаям всю свою жизнь и ещё научусь не показывать камере то, кто и что кроется под платьем.

Мать прибрала фотографии. Ей не нравилось, что я устилала ими всю большую комнату. «А как же прикажешь здесь пыль вытирать?» Лавина неудобства возникала по большей части прагматически, часто вместе с желанием уборки (влажной уборки – это на немецкий и не перевести), ухода, и потом крупица пыли оборачивалась камнепадом ругани. Фотографии пахли грозой.

В мебельной стенке всё отделение под откидным секретером было уставлено фотоальбомами и конвертами с плёнками. Мать их сортировала, я при случае доставала и потом расставляла в своём порядке (чьи лица, какие времена). Странно, что я ещё в детстве имела склонность рассматривать эти визуальные радиопередачи. Из тоскливого стремления понять, в какую семью я попала, ведь у её членов и до меня была своя история. Раз в несколько месяцев я извлекала фотографии. Всегда находились такие, про которые я забыла или ещё ни разу толком не разглядывала. Однажды я обнаружила, взглянув на женщин в бикини, что моя мать курила. Она лежала на полянке, окружённая высокими хвойными деревьями, рядом с моим отцом и несколькими неизвестными людьми. Все молодые, прокуренно-крутые. Моя мать с высокой причёской, стройная красавица, растянувшаяся на подстилке, сигарета между двумя пальцами едва за-

метна, настолько она в тот момент была ей к лицу.

Она разволновалась. Объяснила мне, что в тот день только попробовала, потому что друзья попросили её об этом. Я была шокирована – не только из-за сигареты, ведь я знала, что мой отец долгое время очень много курил и избавился от этой привычки только при помощи железной воли и большого количества яблок, так что после этого у нас никто не курил, кроме дорогого дедушки. Меня ошеломило, какой красавицей была моя мать, совсем не такой, какой я её знала. Как деликатно её лицо намекало, казалось, на какую-то тайну. Я хотела стать такой же красивой, но дальше шока это не дошло. Шок-шоги – это тоже могло бы стать блюдом нашего «Вост. Духа». Для тонуса, для не-тонущих посетителей, как после успешного приземления на Туполеве.

Что делают с этими фотографиями люди, купившие нашу квартиру? Родители оставили всю мебель на месте, книги и личные вещи. Или отец снёс их в жилой гараж? Мои родители улетали как жертвы Чернобыля, которые бросали *хату* на произвол судьбы, в уверенности, что где-то в другом месте есть среда получше для развития их детей. Они эвакуировали нас без поминок, без ритуала, с парой чемоданов, один из которых был ГДР-овским, в который ныне не помещаются даже мои холсты.

Гараж – двухэтажный. Второй этаж – почти готовая однокомнатная квартира, насколько я помню. Квартира в сыром виде – реакция на горбачёвские реформы. Отец постро-

ил пристанище для одного из моих братьев. Ключ отец вручил своему коллеге и другу. Мы никогда не узнаем, что стало с этой недвижимостью. На Востоке не бывает ничего недвижимого.

Может, коллега её давно пропил. Или продал этот крутейший из всех гаражей, потому что он был ему не нужен, а теперь цена его была бы не меньше пятидесяти тысяч долларов. Так или иначе, я хотела бы знать, что стало со снимками. Однажды я случайно узнала, что отец, когда был в гараже, чтобы смастерить что-то, сжёг большинство фотографий перед гаражной дверью, которую мы когда-то вместе выкрашили в зелёный цвет.

Вряд ли моим родителям было так же, как мне, когда мы в последний раз стояли на троллейбусной остановке и ждали и я спросила маму, куда девалась коробка с большей частью моих игрушек. Мои игрушки фотографировали мой внутренний мир, ведь она это знала.

Мои родители не плакали из-за фотографий, потому что они, вероятно, вместе бросали их в огонь. Разложившиеся химикаты пахли искрами свободы, не правда ли, новогодними хлопушками нового начала. Они лишили своих детей образа прошлого. Ночами мы печатали фотографии на кухне, мы жертвовали ради них сном. Каждый из нас помогал, даже если речь шла о том, чтобы убрать всю аппаратуру в переполненную кладовку. Летом мне разрешалось не спать до обморока, чтобы в приглушённом свете красного фонаря

извлекать мокрую фотобумагу из ванночки с проявителем и погружать в ванночку с закрепителем, наблюдая, как проступает изображение.

Точно так же они лишают меня семейной истории. Они не хотят ни записать её, ни рассказать её мне. Они считают её прошедшей, прошедшей мимо, хотят забрать её с собой в могилу, не поделившись ею ни с кем. Они приговорили своих детей к борьбе с материальной бездомностью.

Иногда моему отцу снится наш город-герой, он говорил. «Даже служба на корабле». Это кошмарные сны? – спросила я однажды наугад. Он кивнул. По нему не было заметно печали, его лицо указывало лишь на одно: этот мужчина думает, *заботится*, и он – отец. Отец маленького ребёнка, он это чувствует или ему нужно об этом напомнить: отец вечной девочки, которая не становится взрослой. Он в растерянности, все в растерянности, хорошие советы давали лишь шлепками по попе, и девочка станет и тем, и другим: взрослой и маленькой. Большое спасибо.

Позднее: я хотела на основе прихваченных с собой, отобранных картинок припомнить многие другие – с намерением смонтировать фрагменты во внутренний фильм. Я хотела их украсть. По несколько штук при каждом посещении родителей в прохладной комнате с книгами, где они размещали меня в промежутках между великолепными обедами, чтобы я могла спокойно поработать. Там стоит издание Пушкина, которое стояло на полке ещё в Севастополе, и я выпрашиваю

его всякий раз, когда попадаю в этот кабинет, и всякий раз получаю сердечное нет. Теперь я знаю решение, оно не такое тяжёлое, всего пара килограммов. Поеду в Россию, куплю моего Пушкина и уже никогда не буду одна. А мой русский друг говорит, что весь Пушкин давно есть онлайн. Его не продашь, не сожжёшь, он принадлежит всем, и в очереди стоять не надо.

Блюдо *Пушкин* по общедоступной цене непременно присутствует в нашем меню. Никакой даже самый проблематичный путь эмиграции не минует классика. В китайском платье, преуспевающие, мы подаём вам пышные пельмени. Лёгкий налёт дендизма касается плеча.

Подведите меня к корыту. Каждая поездка в Россию обогащает. Я не знаю точно, чем именно. Однако багаж на обратном пути весит всегда тяжелее, чем при полёте туда, и не только из-за гречки и книг.

Когда я вырасту, дорасту до этого платья на вырост, я стану пушкинисткой. А пока что идёт критическая разборка с путинизмами: слово *путятина* мы используем в качестве креативного перевода сорта мяса, а именно грудки Puten – индюшки. Заслуженный крест полагается как всегда моей матери за находчивость. Это предприятие уже имело однажды успех во время обеда с представителями разных московских университетов, для которых я переводила, в том числе и меню, в котором значилась *жареная грудка Puten*. Молчание вопросительных взглядов привело к тому, что я

ещё раз повторила: *жареная пшутятина*. Я тогда была беременная, усталая, мне простительно.

Сейчас я взыскую совсем другого: некоей гармонии, следствия облежённного мочевого пузыря или опустошённого гипофиза. В принципе это жажда приключений, охота к превышению, желание дать газу (даже если там и без того избыток газа). Предвкушение детской вседозволенности, возможности распусться. Покинуть тевтонско-гельветическое пристрастие к календарям и часам в пользу обвинения в агентурной деятельности или безделии, в пользу пришпоренной спонтанности. Разузнавание, хочешь ты того или нет, носит оттенок военной разведки. В знании, что через неделю-другую вернёшься. Что стало с нами и нашими мечтами? Они спустились с мачты, проиграли матч? Космонавты мыслили большими орбитами. Трёх законченных классов школы для этого недостаточно.

Облегчительно было бы: больше не вспоминать, не иметь к этому ни охоты, ни потребности, ни обязанности. Ни счёта, ни расчёта, ни отчёта. Это уж как оно есть, со всеми шрамами и переключениями скоростей на велосипеде Тур-де-Свис. Ничего уже не поделаешь, не мысли, никуда не езжай, можно только по речушке Зиль вверх и вниз, до Адлисвиля, до Энге. Ограничить себя, протиснуться в свой уголок, свернуться калачиком.

Русский со стрижкой ёжиком смотрит из окна вперёд по ходу поезда; он никогда не бросит свою заброшенную де-

ревню, свою радио – и метеостанцию и свою магнетическую Москву. Он пишет, что я веду себя как десятилетняя девочка и что мне надо читать Достоевского, чтобы понять его антисемитизм. Моя мечта быть этнологом лопается. Я насытила интерес к этой России, за которую он стоит горой, но она не покидает меня.

Самое время и самое место очнуться и выставить полотна из берлинских съёмных квартир в качестве зародышей воспоминаний. Выйти на балкон, считывая ветер с флага Швейцарии у моих любимых соседей. На зелёное полотно экрана Энтлисберга скинуть однодневный фильм, с лошадиными копытами Тюрлихофа и криками «браво» юных наездниц, которые ещё лучше знают путь от Аддисвиля вдоль реки Зиль, и не забыть: собирать зелёные тона, их можно потом пастелизировать с ветром, который водит кистью по щекам. Мой макияж. Извинение, освобождение от вины и от вина. Сменить комнату, в следующую ночь проснуться без сновидений от подмигивания Утлиберга. На странице моей лицекниги рекламируется металлический конструктор. Фото профиля можно поменять, я стану профи в конструировании подъёмных кранов. С такими не только ремонтируют корабли, но и сносят памятники.

Скорость

Мои корни? Они образуют небольшие холмики вблизи деревьев, они незаметно двигаются под асфальтом. Я рано научилась, катаясь на роликах, принимать эти бугорки за желанные препятствия: либо осторожно объезжать их, либо вкатываться на них, чтобы потом, съезжая, ускорить темп. *Скатерти*, кстати, в русских сказках накрываются сами собой, а могут и летать, у них своя жизнь, в которую ты вступаешь, когда позволяешь нести себя тому, что тебе подали.

Ты стоишь в Берлине на коньках-горбунках, на *inline skates*. В Севастополе они были ещё четырёхколёсными роликами. Не замечаешь, как едешь. Ты пялишься на дорогу в поиске узора, тёмных точек на светлом асфальте. Неожиданные камешки в бетоне слагаются в линии, когда по-настоящему разгонишься да ещё наберёшься отваги смотреть под ноги. Ты летишь всё быстрее, твои ноги при каждом соприкосновении со всей силой отталкивают дорогу.

Ты чувствуешь, как немногие прохожие теряются и почти-тельно отступают, тогда как ты всё меньше воспринимаешь дорогу как таковую. Узор всё никак не проявляется, только протягиваются линии – и вскипают волнами. Крупнозернисто светится бумага асфальта. Ветер расчёсывает волосы, ты бьёшь ключом через край от свежести и воздуха, который пресекает тебе дыхание. С тех пор ты любишь скорость,

чтобы при разгоне бесследно растворялся страх как сахар в чае, – так сильно любишь, что боишься сесть за руль обычного автомобиля: ты превратила бы его в гоночный. Мчаться, неудержимо, вверх и вниз, ступнями и косами, сквозь солнце и подсолнечные семечки бабушек и ряд кормящих матерей. И будь что будет.

На ролики я встала случайно из-за общих проблем с обувью. Мои кроссовки, что я носила в хвост и в гриву, в тон и не в тон школьному синему платью, стали мне малы, а тирады маминой ненависти становились всё пространнее. Безмерна эта родина-мать в недовольстве снабжением: она не знала, где добыть для меня новую обувь. Во всех магазинах, которые мы обежали, детской обуви мы не нашли – в продаже были лишь ролики.

Этот забег запечатлелся у меня как особая экскурсия по городу. Мы были в районах, где наша нога никогда не ступала, и на рынках, запах которых мне никогда не встречался. Моя новая обувь. Металлические, раздвижные, они телескопически росли вместе со мной. Но должны быть и прочные ботинки, в которых становишься на ролики. Где-то нашлась пара мальчишских, из дедушкиного магазина для ветеранов. То, что называют «убогие», но мне на это, ей-богу, было наплевать. Тщеславие водворилось лишь пару лет спустя, когда школьную форму носили уже только те дети, которым было что скрывать.

В начале 90-х обязательную школьную форму отменили,

можно было ходить в школу хоть в форме, хоть в одежде для свободного времени. Только последней не было в продаже, а первая была загодя куплена на вырост. Дети отражали те два класса, на которые внезапно разделился город – немногие родители, которые покупали западные вещи, и большинство родителей, которые не могли дать детям с собой в школу даже бутерброд.

Так я незадолго до исчезновения Советского Союза скользила на лучших самоходах 80-х годов в начавшиеся 90-е. Кто-нибудь на Западе когда-нибудь видел такие прочные, ладно скроенные и крепко сшитые, при этом тихие ролики? Разве что где-то в музее остальгирующей по Востоку провинции они ждут чьих-то ностальгических слёз. Плоды металлических конструкторов для продвижения по квартире, по кварталу, по охотничьим угольям счастья. Они принадлежат истории свободы, неконтролируемой скорости и несуществующей усталости. На этих штукаках я не теряла драйва, а если и теряла, то молниеносно снова обретала силы.

Моё воодушевление было заразительным. Другие дети тоже доставали из кладовок ролики старших сестёр и братьев, если не родителей. Только колесики у них были меньше, медленнее и громче. Я на своей последней советской модели целое лето была на пять сантиметров выше, чем обычно, и парила на невидимых крыльях. Наши холмы как нельзя лучше вписывались в ландшафт достижений – то была вершина головокружительной продукции механики.

Гигантские, даже на бесконечно широких проспектах быстрые колёса оживили этот спорт и во всех соседних дворах. Дети мучились на роликах предыдущего поколения из 70-х, мои по сравнению с ними выглядели в нашей республике колёс как космический шаттл. Чтобы не забыть: я мчалась напрямик в лучшее будущее, букеты нелегальной торговой точки у троллейбусной остановки взлетали в воздух, и я зарывалась лицом в их аромат как космонавт после успешного приземления.

Естественно, те магические ролики были слишком тяжелы, чтобы тащить их с собой в Берлин. Я тогда ещё не знала, что это было последнее беспечное лето моей жизни.

Быстро становишься восьми-, девяти-, десятилетней. Забудь ту почву, что была у тебя под ногами. Когда первая мысль по пробуждении была о роликах. Что за изобретение. Памятник твоему детству, вот чем оно должно стать, две вставленных одна в другую внахлёт металлические пластины. Нержавеющая сталь. Эта скульптура блестит на веснушчатом солнце – твоё солнце было в принципе каникульным, – оно сияло ненамеренно на все стороны, так что даже Наташа, которая в свои 14 лет была сложена как фотомодель и поглядывала на детвору с Олимпа своей красоты, доставала ретроролики своей матери и защёлкивала на своих превосходных ногах. Но и она не могла сравниться с тобой, ты превосходила королеву красоты. Это был твой венец, однажды и больше никогда ты не казалась сама себе универсальным ге-

нием из русских сказок, который в своих сапогах-скороходах мчится, несмотря на препятствия, сквозь времена и страны.

Ты не хотела отделяться от роликов даже в квартире, ты передвигалась в них по линолеуму и через порожки комнат, внезапно возвышаясь над отметками годового роста на дверном косяке. Незаметно, неслышно толстые резиновые шины молча переносили любые тяжести.

Тебе нравились и старые модели, они походили на маленькие бочонки. Их обладательницам и владельцам они не нравились, они дисгармонично громыхали на мелких неровностях. Они не могли перелетать через корневища деревьев без потери удовольствия. Ты же беспрепятственно носилась по кругу в квадратуре детского сада, от двора к двору, туда отсюда, и когда я вспоминаю об этом, я уже счастлива.

Олег не мог не заметить, что эту моду задавала ты. Он видел, как ты каталась вокруг огромного детсада прямо по проезжей части. Ты не боялась машин. Машины проезжали там редко, но всё же проезжали. А тебе приходилось мчаться по правой стороне с довольно крутой горы, а после спуска вписываться в крутой же левый поворот, чтобы не въехать в открытый подъезд отнюдь не фланельной пятиэтажки. Проехавшись вдоль неё и завернув на другой стороне, ты собираешь весь свой драйв, чтобы преодолеть ту же крутизну вверх. Ту крымизну. Держи себя в руках, не расползайся кашей, разве что в духе братьев Grimm. Тут мне открывается взгляд на ещё один пункт для меню: *гримм-холодец*. Свежая

рыба из Цюрихского озера, застывшая в собственном соку с морковкой и чесноком. Если пожаловаться рыбке на свою беду, она скажет: отпусти меня на волю, и я исполню твоё желание.

Забравшись наверх, ты катишься по грубо асфальтированному участку между твоей многоэтажкой и фронтальной стороной детсада. Наверху немного разгоняешься и предаёшься склону вперёд. Опять и опять, и снова опять и опять.

Моим берлинским племянницам мне не объяснить, что бывают детства, не ведающие ровных площадок, ибо всегда всё идёт либо вверх, либо вниз. Бесконечные детства, в которых застреваешь как в лифте. Где либо выпрямляешься и воспринимаешь нарастающие сотрясения под ногами как массаж, либо до изнеможения сгибаешься на подъёме – будто тренируешься на профессионально смазанных лыжах для последующих подъёмов в гору.

Re-Enactment, от массажа к месседжу: я помчусь на работу на *инлайнскейтах*. Тогда я успею до того, как она закончится. Пока не попаду в толпу скейтеров и утолкнусь на скейтборде, на котором можно держать равновесие при скольжении.

К роликам, только иначе, относится и обучение катанию на самодельном скейтборде первого друга, вечного Олега, и учительница математики, случайно проходившая мимо. Олег крепко держит меня, а я медленно качусь на его доске к краю тротуара. Стыд быть застигнутой за таким занятием со

старшим мальчиком, который на всю жизнь преподнёс мне урок, что бывает нечто вроде совместного танца в *одном* направлении, то есть держась друг за друга. Тонкая ухмылка молодой учительницы. Я же по математике отличница, отнюдь не уличный ребёнок. Она мне это попустила, я себе нет.

Езда ночным поездом между Цюрихом и Гезундбрунне-ном – CityNightLine прекрасно соотносится с поездом Жадана Сумы-Луганск, такая же удобная. И похожа на ту езду на скейтборде. На длинной подвижной доске, вытянувшись на полке. Лежать до конечной остановки, до начала нового цикла пребывания.

У того непокидаемого, надёжного деревенского русского, чьи следы тянутся по следам Зиновьева в Кострому, разумеется, глаза Олега. Блондинно-голубое живое фото, подлинник, всё к лицу. К тому же неотступно напоминающее в своей театральной жестикуляции и импульсивности о ближнем, который если был дан, то так же внезапно, стремительно и заботливо-сочувственно, а потом снова нет, без устойчивости на асфальте. Но если что – он тут как тут.

Телефонная будка

Константин, ребёнок-сэндвич, то есть средний из нас троих, девятилетний, звонит из телефонной будки начала 80-х, рядом с родной многоэтажкой, в ближайшую больницу. Его послала мать, она лежит в квартире со схватками, в ожидании третьего ребёнка. В новопостроенном посёлке ещё нет квартирных телефонов. И хотя их вскоре обещают, это никак не сокращает дорогу до телефонной будки: оба лифта в высотке в тот день не работали.

Тётя в больнице уверена, что мальчик шутит, и снова отправляет его к матери. Мама, они мне не верят, что тебе нужна скорая помощь. И тогда мать сама спускается вниз, ступень за ступенью. Звонит. Дело срочное. С третьим-то ребёнком всё по-быстрому. Городская больница переполнена. Родильное отделение закрыло приём рожениц. Беременную везут дальше, на край города, ребёнку уже по легенде рождения суждено аутсайдерство, а то и обязывает к нему. Мать, которой под сорок, что по тем временам было делом нечестным, рождает дитя в необычном месте: в Херсонесе, части Севастополя, а некогда античном городе. С XIX века здесь раскопки, с недавнего времени это место – мировое культурное наследие. Дорические колонны, кое-где сохранившиеся, поддерживают женщину в столь высоком назначении. Дочь можно было бы назвать Дорой. Там по преданию крестил-

ся Владимир, который в Киеве на Днепре крестил Русь или должен был крестить, смотря кому и во что верить. Чрезвычайно эллиническое и крайне русское местечко.

Родители шутили, что хотели назвать меня Изольдой, «изо льда», как же весело это звучит. Мне тогда нечего было сказать, и не только тогда, вот теперь говорю: патина пафоса заволакивает сетчатку Крыма. Кретинские ассоциации Крита. Разве через века не чувствуешь, разве не видишь, как это и то значение этой и той культуры непобедимо вписались в слои берегового ландшафта античными осколками? Благодаря бессилию культурологии и всесилию культурного ландшафта значение это унаследовалось, конденсируясь в младенце. Вау! Мяу! Криминально увлекательная Киммерия. Да здравствует Крым! Да здравствует новая жизнь, без гнева и горести. Как бы ни звалась суть, мы зовём её к себе. Вот девочка, о которой впоследствии мать, глядя вслед ей, уходящей в школу, скажет, что у неё походка портового рабочего из Одессы. Наверняка она хотела передать тем самым феминистскую идею, навеянную стабильной хрупкостью греческой архитектуры на скалистом краю Херсонеса. Но тут-то я уже и освоила низменный, берлинский ход вещей.

Вот та телефонная будка между *Буревестником* и нашей высоткой, в этой будке я однажды нашла пять рублей. Мои первые карманные деньги. Будка стояла, слегка накренившись, и купюра застряла в асфальтовой щели. Дикое корневище – возможно, растущего неподалёку грецкого ореха –

готовило этой будке падение.

Всё это больше не в счёт. Считается лишь то, что по случайности мне выпало родиться на этой территории, которая считается одновременно и не-русской, и исконно-русской. Вот только по дороге у меня выпал глубокий интерес к значению старых слоёв. Он не заходит глубже проломов в бетоне, мелких морщин и трещин на фасадах сотрясённых высоток – цветом почти как наш любимый шоколадный лом. Колонны Херсонеса мы могли бы, на мой вкус, предлагать в нашем «Вост. Духе» в виде вафельных башенок на волнах мороженого.

Год свободы

Три первых школьных года я провела в трёх разных классах двух разных школ. Школа в принципе была чем-то очень, очень важным. Тем более странно, что мои родители забыли вовремя определить меня в школу. Я тогда не знала, хорошо это или плохо. Тот «промежуточный» год, проскользнувший сквозь все стандарты биографии, стал вообще самым лучшим. Благодаря ему я поняла, что мои родители заботились обо мне, но как будто издалека – времени у них никогда не было. Спустя несколько моментальных снимков я поняла, что им приходилось бороться с проблемами, которые становились всё больше по мере роста двоих почти взрослых сыновей, с порциями еды, которые становились всё меньше, и разъеданием нервов. С рожами и грабежами, взломами, сломленностью обманутых людей и всего государства, с недоверием и инфляцией. Что по сравнению со всем этим было моё инфантильное желание тепла-близости-понимания. Я ведь тоже не понимала, как это может быть, чтобы, например, бандит, выскочив из засады, вырвал серьги прямо из ушей маминой коллеги, когда она шла с работы.

Мать часто говорила, что я расту сама по себе, как трава у дома, и пасусь под забором, как овечка. Она говорила, что у обоих моих братьев были реальные проблемы – поступление в университет, предстоящее основание семьи и вопрос, где

жить. Да что там, они не знали, чем кормиться и что делать с деньгами, которые обесценивались каждый день; не было ни денег, ни еды, которую можно было бы на них купить. Они выменяли мой велосипед на копчёную курицу. Школа отодвинулась на задний план.

В семь лет я уже переросла детский сад, а для школы, которая мне предназначалась, не была подготовлена. Ничего не знала на вступительном экзамене. Мои братья ходили в хорошую старую школу с английским уклоном в центре города. Родители давно забыли, что туда принимают только по результатам вступительного экзамена, а для этого надо было выучить несколько базисных слов. Я пришла на экзамен с улицы, меня поставили между карточками с животными и их названиями, я должна была повторять, но справилась только со словом "elephant" и вскоре заблудилась между тётями и тетрадями. В душном воздухе и суматохе помню только одну цель: пить. В итоге учительница сообщила моим родителям, что их дочь не имеет способности к языкам. Они сказали, что это очевидно, у меня же талант инженера, и я думаю только о том, как смастерить из детского конструктора коляску для кукол.

Был конец августа, неделя пролетела в неизвестности, я возилась с очередными металлическими аксессуарами для моей любимой куклы (не оставлять же её без скейтборда и лодки). Внезапно во дворе внизу всё опустело, потому что для всех остальных наступил учебный год. Мои родители,

естественно, оба работали, старший брат учился в Петербурге, средний только что закончил школу и тоже уехал учиться в Симферополь: иностранные языки. Я осталась дома с конструкторами моих братьев – по механике, электронике и химии – и с запретом брать книги с самой верхней полки стеллажа. С указанием, как разогреть суп на газовой плите. С латиноамериканскими мыльными операми и другими душераздирающими передачами, которые мы тайно ловили с турецкого телевидения.

Впоследствии я задумалась о том, как настойчиво пропагандировалась у нас латиноамериканская жизнь, когда встретила молодого человека из Чили. Его предки были немцы, детство он провёл в Мюнхене. Он сел в государственной библиотеке рядом со мной и был почти как русский – второй кожей, вплоть до пилинга культурными глыбами. Он ностальгически поедал у меня на кухне детский шоколад, понимал проблему, что такое быть НЕнемцем, когда, например, речь заходит о настольных играх на посиделках, и упрекал меня в незнании Латинской Америки. Я возражала, что насмотрелась мыльных опер того времени. Он согласился, что жизнь в Чили именно такова, как в сериалах, и что я должна, наконец, понять, что он происходит из этого неджентльменского патриархального общества и обречён быть одним из них. Он хотел совершить побег от несправедливости, как он говорил; он писал философскую книгу по этическим вопросам справедливости и её нехватки. Латинская Америка ту-

да, Латинская Америка сюда, то был летучий голландец семь лет назад, в итоге вернувшийся на свой континент.

Незадолго до моего седьмого дня рождения я решила никогда не учиться читать. Я не хотела превращаться в мумию над книгой. Меня возмущали эти поглощённо-отсутствующие лица людей, которые ведь могли бы со мной говорить, играть, гулять. Возмущали, может быть, даже больше, чем в наши дни пожилых людей возмущает младшее поколение с лицами, закаменевшими в столбняке, когда они пялятся в свои гаджеты.

Пару раз я убежала от матери, когда она хотела обучить меня грамоте, – пусть теряет меня из виду, если легко теряет самообладание. Но когда мне строго запретили чтение слишком сложных книг, я пододвинула стул к стеллажу, чтобы дотянуться до верхней полки. Одно из запретных кодовых слов: ты ещё не доросла до Жюль Верна. Вскоре после этого, потеряв всякое чувство пространства и времени, я пиrowала на своей первой книжной оргии с *Вокруг света за 80 дней* и *Двадцать тысяч лье под водой*, которые совратили меня раз и навсегда. Можно было объездить весь мир, включая его небеса и моря, если предаться на волю фраз, не сходя при этом с места. Первая страница была адом, вторая пошла лучше, двухсотая сделала меня наркозависимой от чтения. Я поднималась на воздушном шаре, сбрасывала вниз мешки с песком, замерзала среди лета над короткими рассказами Джека Лондона и впадала в жар среди зимы с красноармей-

скими кавалеристами.

Одно время меня захватила книга по астрологии. Она была ещё запретнее любой просветительской книги; причём сегодня я припоминаю, что моя мать скоро перестала обращать внимание на то, что я читаю. Главное, чтоб я читала. И я читала. В том числе и о том, что некоторым парам не подходит спаривание, а некоторых парит, даже если они лишь теоретически ступают на путь, подготовленный звёздами. Кое-что я знала почти наизусть, на какое-то время это стало Библией; внизу во дворе я гадала подружкам по линиям их ладоней.

Вика с десятого этажа в качестве ответной любезности показала мне иллюстрированную Библию. Такое же таинственное мгновение посвящения. Я не находила отличия от книжки сказок. Куда более сильное впечатление на меня произвела Катя с шестого этажа, единственный ребёнок в семье – гитарой в её комнате и тем, что у неё была своя комната и гитара. В отношении музыки мои родители единогласно решили, что слуха у меня нет, поскольку ритм у меня свой, а чувство такта вообще отсутствует. Может быть, я ослышалась, и они имели в виду то, что я их не слушаюсь. С этим непослушанием, освобождённый от гармонии дикий ребёнок рос без музыки, ампутирование и вербально мутировано, вплоть до отвращения к вопросу всех подростков: «А что ты слушаешь?». Я слышала лишь то, что читала и что бормотал телевизор. Тем приятнее потом навёрстывать: уши открылись. Без музыки едва ли возможно вырасти из тяготения карти-

нок.

Школьное время других я прожигала за чтением. Долгие утра проходили на балконе в царстве кукол. Иногда компания внизу: перегруженные школы нашего плодovitого года рождения порой вводили двухсменную систему, когда у половины детей занятия начинались после обеда. Но после обеда и вечером я всегда была внизу, если не дождь. Мы играли в карты, рассказывали анекдоты, делились слухами про НЛО и про Запад (они были похожи), понемногу забывая приезжих детей, с которыми мы проводили лето и которые уезжали до следующего лета или навсегда. Мы пекли в кустах картошку, взятую из запасов наших матерей, гоняли между гаражами мягкий футбольный мяч, брали из пещеры родниковую воду, скатывались на картонке со склона, поросшего травой – так мы представляли себе катание на санках. На снег мы не надеялись, он не выпадал почти никогда и не залёживался дольше пары часов. Мы рассчитывали только на себя. Иногда мы уходили далеко от наших высоток, ухаживали за щенками и котятами, выслушивали истории детей, встреченных на незнакомых улицах, и на закате солнца возвращались назад, усталые, под прощальные взмахи веток акаций и тополей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.